



*Лев
Кассиль*
КОНДУИТ

*Три страны, которых
нет на карте:
Швамбрения,
Синегория
и Джунгахора*

**КОЛЛЕКЦИОННОЕ
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ
ИЗДАНИЕ**

Лев Абрамович Кассиль
Кондуит. Три страны, которых
нет на карте: Швамбрания,
Синегория и Джунгахора
Серия «Коллекционное
иллюстрированное издание»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64026517

*Три страны, которых нет на карте. Швамбрания, Синегория и
Джунгахора: Детский книжный; Москва; 2020*

ISBN 978-5-907332-21-8

Аннотация

Впервые три повести классика отечественной детской литературы Льва Кассиля: «Кундуит и Швамбрания», «Дорогие мои мальчишки» и «Будьте готовы, Ваше высочество!» в одном томе.

В 1915 году двое братья Лёля и Оська придумали сказочную страну Швамбранию. Случившиеся в ней события зеркально отражали происходящее в России – война, революция, становление советской власти.

Еще до войны школьный учитель Арсений Гай и его ученики – Капитон, Валера и Тимсон – придумали сказку о волшебной стране Синегории, где живут отважные люди. Когда началась война, и Гай ушел на фронт, то ребята организовали отряд «синегорцев», чтобы претворить в жизнь девиз придуманной им сказки – «Отвага, верность, труд, победа».

В 1964 году в детский лагерь «Спартак» приехал на отдых наследный принц Джунгахоры – вымышленного королевства Юго-Восточной Азии.

Книга снабжена биографией автора и иллюстрациями, посвященными жизни дореволюционных гимназистов и советских школьников до войны и в начале шестидесятих годов.

В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

Содержание

Об авторе	9
Кондуит и Швамбрания	35
Книга 1	36
Страна вулканического происхождения	36
Открытие	36
Пропавшая королева, или Тайна ракушечного грота	36
Запоздавшее предисловие	42
География	43
История	46
От Покровска до Драндзонска	49
Джек, спутник моряков	52
У тихой пристани	53
Домашний капитан	56
Земля ханонская	59
Гудок разбудил Швамбранию	61
Критика мира и собственной биографии	63
Езда «в народ»	64
Мир животных	65
Вокруг нас	67
Умственность и ремесло	68
Бог и Оська	70
Небесная Швамбрания	74

Покровская золушка	76
Клейменные орлы	77
Газообразное начальство	78
Святки	79
Дни склеены синдетиконом	81
Анонимка	83
Золушка разоблачена	86
Туфелька сандрильоны	87
Голубиная книга	89
Вступительное	89
Забрили! Оболванили!	91
Пуговицы	93
Наполеон и кондуит	96
П. Г	98
Голуби-сизяки	100
Директор	103
Учительская	105
Инспектор	107
Агнцы и козлищи	108
Сказание об Афонском Рекруте	109
Первый звонок	110
Шалман	111
Черт и «младенцы»	114
Во саду ли...	115
«Идем на вы!»	116
Манифест	118

«Сорванные голоса»	120
Земский и сын	122
Глава почти кинематографическая, в которой читатель, видя наверху ноги, а внизу голову, может крикнуть автору: «Рамку!»	123
Фараон вызывает Иосифа	125
Шаги в коридоре	127
Развязка	128
Восемь	130
Пукис – бенефициант	132
«Журавли» и «лебеди»	134
Три «е» и «Тараканий Ус»	135
Историческая гвардия	137
Среди блуждающих парт	138
Царский день	140
«Наука умеет много гитик»	142
Место на глобусе	144
Происхождение негодяев	145
Верхний этаж мира	146
Лапта в сирени	148
Первая швамбранка	150
Дух времени	152
Театр военных действий	152
Вид на войну из окна	155
Первое орудие, чхи!	157

Классный командир и ротный наставник	159
Братишки-солдатики	161
Дух времени	163
Нас обучают войне	165
Серый в яблоках	167
«Тпру» по-немецки?.	169
Лошадиное слово	171
С новым счастьем!	173
Февральский кондуит	175
О круглой земле, о больших новостях и маленьком море	175
Разговор по прямому проводу	178
Цап-Царапыч гонится за луной, или Что сказал об этом кондуит	179
«Вольно!» – говорит солдат	180
Самоопределение Оськи	181
«Боже, царя...» передай дальше	183
«На баррикадах»	187
Большая перемена	188
Латинское окончание революции	190
«Романов Николай, вон из класса!»	191
Степка-агитатор	192
Заговор	195
На Брешке	195
Галоши директора	197
Вече на бревнах	201

«Родителям на утешение»	203
Директор и Оська	204
Отцы, папаши, батьки	207
Конduit директора	209
Присутствие духа	211
Конец ознакомительного фрагмента.	213

Лев Абрамович Кассиль **Три страны, которых** **нет на карте** **Швамбрания,** **Синегория и Джунгахора**

Об авторе

В Покровской слободе Саратовской губернии (с 1914 г. город Покровский, с 1947 г. – город Энгельс) 27 июня (10 июля по новому стилю) 1905 года родился Лев Абрамович Кассиль. Его отец Абрам Григорьевич (Гершонович) Кассиль (1875–1951) – сын раввина, после окончания медицинского факультета Казанского университета он с 1904 года служил земским врачом в Покровской слободе и акушером в местном родильном приюте. В советские годы Абрам Григорьевич стал гинекологом, преподавателем Энгельсского медицинского училища, и в 1935 году в родном городе вышла в свет его книга «Женские болезни и их предупреждение». Мать Анна Иосифовна, урожденная Перельман, – дочь купца 2-й гильдии, была учительницей музыки, но позже пере-

квалифицировалась в зубного врача.

О своем появлении на свет Лев Кассиль рассказывал с присущим ему веселым чувством юмора:

– В тот день на квартире моего будущего отца, общественного врача, собрались на нелегальную сходку представители местных революционно настроенных кругов... А чтобы полицию не тревожило такое необычное скопление на частной квартире, околоточному сообщили, что у нас отмечается годовщина Полтавского боя. Поэтому, когда к открытым из-за жары окнам гостиной подплывала снаружи распаренная физиономия городского, мама спешили сесть за рояль и наигрывала что-то чрезвычайно воинственное, а студент агроном мелодекламиривал в окно: «Выходит Петр. Его глаза сияют. Лик его ужасен». Настороженный городской за окном приостанавливается. «Движенья быстры. Он прекрасен!» – спешит продолжить студент, и успокоенный городской проходил дальше. Но к вечеру в гостиной начались распри. Шум поднялся уже совершенно неконспиративный. Напрасно папа, пытаясь заменить студента, по уши погрязшего в споре, читал в окно: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром...» В смятении он сбился в Полтавской баталии на Бородинское сражение. Мама очень разволновалась. Гости, заметив это, стали поспешно покидать квартиру. И я родился.

В 1908 году в семье появился второй сын Иосиф, ставший, когда подросток, товарищем в играх и проказах старшего бра-

та. В 25 лет он уже был известным журналистом и преподавателем марксизма в саратовском Институте механизации и электрификации сельского хозяйства. Иосифа Кассиля арестовали 4 августа 1937 года и обвинили в участии «в антисоветской террористической диверсионно-вредительской организации правых, действовавших в Саратовской области», 21 января 1938 года он был расстрелян.

Лев Кассиль с 1914 года учился в гимназии родного города. Он вспоминал, несколько иронически относясь к своим детским увлечениям: «О литературной работе в будущем я тогда и не помышлял. Мне нравились совсем иные занятия, меня влекли другие дела и профессии. Сначала я мечтал, как и многие мои пешие сверстники, сделаться извозчиком, так как автомобили и самолеты в то время обретались еще за пределами мечты. Потом я помышлял стать кораблестроителем. Я мастерил модели волжских пароходов... Потом я решил стать натуралистом. Стал собирать гербарий... Раздраемый обнаруживающимися во мне, по мнению знакомых, способностями, я долго не знал, чем же мне следует заняться всерьез. Художники находили у меня определенные склонности по их части, и я послушно учился рисованию и малевал, а когда был в последнем классе школы, то даже занимался параллельно в Саратовском художественно-практическом институте. Музыканты же утверждали, что у меня отличный слух, и я много лет терзал рояль и корябал слух окружающим, если верить, что таковой у них был. И тут еще приехав-

ший из голодного Петрограда учитель словесности А.Д. Суздаев, образованный и опытный педагог-энтузиаст, прочтя написанные мною по его заданию домашние сочинения, заявил напрямик моим родителям, что, чему бы меня не учили, все равно я, увы, в будущем стану литератором...»

В 1923 году Лев окончил гимназию, которую уже успели переименовать в Единую трудовую школу, и по путевке Саратовского обкома партии был «командирован по разверстке» на физико-математический факультет Московского университета. Здесь он проучился до 1927 года, не завершив полного курса обучения, так как в течение последних двух лет испытывал влечение не к точным наукам, а к литературному труду. Для него поначалу это даже был не труд, а развлечение, он часто посылал родителям письма, где на десятках страницах описывал свою московскую жизнь, столичные улицы, новостройки, театры и музеи. Младший брат по прочтению писем родителями забирал их себе, вместе с товарищами перепечатывал на пишущей машинке впечатления старшего брата от столицы и помещал под его именем текст в местной газете под рубрикой «Письма из Москвы».

Свой первый рассказ автор «Писем из Москвы» написал в июне 1925 года и напечатал в газете «Новости радио». Рассказ, как ни странно, был посвящен американской жизни, о которой Кассиль слышал лишь радиопередачи. Последующие опусы начинающего литератора, тоже сплошь выдуманные, редакции газет и журналов смело выбрасывали в мусор-

ную корзину. Тогда скороспелый писатель засел за чтение русской классики. Обучение пошло на пользу, и с 1927 года его уже оригинальные очерки время от времени стали появляться в газетах.

Тогда он решил познакомиться со своим кумиром – поэтом Владимиром Маяковским. Кассиль вспоминал: «Я пришел к обитой клеенкой двери в Гендриковом переулке, что на Таганке. На двери была маленькая дощечка с именем великого Маяковского. Я взбежал по лестнице, а сердце от волнения окатилось вниз по ступенькам. Я позвонил, и мне открыли. Через эту дверь я вошел в литературу».

По предложению доброжелательного к молодому литератору Маяковского, Кассиль стал работать в журнале «Новый ЛЕФ». Здесь были напечатаны первые главы повести «Кондуит». Кассиль сотрудничает одновременно с журналом «Пионер», с газетами «Правда Востока» и «Советская Сибирь», много путешествует по стране.

В 1928–1937 годах Лев Кассиль – очеркист, фельетонист и специальный корреспондент газеты «Известия». Ненасытная жажда познания гнала его в дорогу, он всюду хотел побывать, все увидеть своими глазами.

Кассиль вспоминал: «Я много ездил, летал, плавал, путешествуя с корреспондентским билетом “Известий” по родной земле и за ее пределами. Жил в пограничном колхозе бывших кавалеристов Котовского. Летал встречать в воздухе

«Цеппелин»¹. Участвовал в большом походе советских глиссеров, в испытательных перелетах новых самолетов и дирижаблей, на одном из которых чуть не погиб, когда мы заблудились в тумане и едва не запутались над Окой в высоковольтной сети...»

Писатель выступает с очерками об успехах советской авиации, о новостях Академии наук и тиражах государственных займов, о врачах «скорой помощи» и воспитателях детских садов... Появляются с 1930 года его научно-познавательные книги для детей – «Вкусная фабрика», «Планетарий», «Лодка-вездеход». Он знакомит читателей с новинками техники – дирижаблем, глиссером, стратостатом, метрополитеном.

Кассиль написал о великом множестве людей, зараженных огромным желанием работать, строить, овладевать знаниями. Так появились очерки «Ритм вещества», «Именем доктора Галли Матье» и многие другие. Журналист Кассиль ходит по адресам объявлений о продаже вещей в московских квартирах, и в разговорах с их хозяевам рождается замечательный очерк «Сорок два визита в поисках обыкновенного», который заканчивается словами: «Сорок две двери приоткрыли мы в обыкновенную жизнь наших сограждан. Еще порядком мусора кое-где за порогом, еще не везде чисто проветрен воздух, и иногда в новом доме живут со ста-

¹ *Цеппелины* – дирижабли жесткой системы, названные по имени их изобретателя и создателя Фердинанда Цеппелина.

рым свинством. Но какая уверенная, с каждым днем насыщающаяся, большая, безбоязненная и разноцветная жизнь открывается нам, пытавшимся посмотреть ее даже сквозь очень узенькую шелку-дырочку, оставшуюся в газетном листе от вырезанного объявления».

Но от «шелки-дырочки» он легко переходит к рассказам о героических делах. Его очерк о возвращении в Москву после славной челюскинской эпопеи начальника Главного управления Северного морского пути Отто Шмидта назывался «Ледовый комиссар». После этой публикации даже в официальных документах Шмидта стали называть «ледовым комиссаром».

В 1937 году, затем в 1941–1942 годах Лев Абрамович – главный редактор детского журнала «Мурзилка».

В 1940 году в Детгизе вышла в свет книга Кассиля о своем учителе-наставнике в литературе «Маяковский – сам», в которой рассказано о жизни, литературной и общественной деятельности поэта. Кассиля изображает его в постоянном движении, даже из того, как идет Маяковский по улице можно представить себе портрет этого незаурядного человека: «Грохая тростью в асфальт, легко обгоняя попутных, круто обходя встречных, неся широкие плечи над головами прохожих, шагает Маяковский по Москве, – твердо и размашисто. За ним в толпе завиваются воронки, как в воде за пароходом. Все оборачиваются, смотрят ему вслед».

В годы Великой Отечественной войны Кассиль – фронто-

вой корреспондент, он часто выступает по радио, в школах, военных частях, на заводах и фабриках Москвы и Урала. О войне им написаны статьи и очерки, которые печатались в газетах и журналах того времени, рассказы для детей: «Линия связи», «Зеленая веточка», «Все вернется», «Держись, капитан!» и другие. О военных произведениях Кассиля говорил автор книг для подростков и юношества Юрий Яковлев: «Война была великим испытанием не только для самого писателя, но и для его “романтики”, за которую его так нещадно “чистили” критики. Они утверждали, что его романтика ложная, а она оказалась жизненно необходимой! Эта романтика когда-то помогла его маленьким читателям вступить в жизнь, теперь она помогала им – повзрослевшим, ставшим солдатами – защищать свое отечество».

В 1944 году вышла в свет повесть Кассиля «Дорогие мои мальчишки». В ней автор первым в детской литературе попытался увлекательно передать свое впечатление от труда юных ремесленников, вписавших свою строку в летопись борьбы с фашизмом. В повести также разыграна сказка о Синегории, стране, как в Швамбрания, созданной воображением автора.

Вместе с поэтом Сергеем Михалковым в 1946 году Кассиль участвует в походе группы советских морских судов вокруг Европы. Корабли заходили в порты Польши, Германии, Англии, Франции, Гибралтара, острова Мальта, Турции. Наблюдая во время плавания послевоенную жизнь, Кас-

Силь и Михалков написали для самых маленьких читателей увлекательную книжку «Далеко в море», в которой, в частности, рассказали о трудной и почетной морской службе.

В содружестве с другим автором, журналистом Максом Поляновским, в 1949 году Кассиль написал документальную повесть о юном герое, партизанине Володе Дубинине – «Улица младшего сына». О характере этого соавторства Кассиль рассказал, выступая в 1954 году в московском Доме детской книги:

– Считаю нужным во избежание каких-либо неясностей сказать о роли, которую сыграл в создании этой книги мой соавтор, Макс Леонидович Поляновский. Он, так сказать, первый пробудил во мне интерес к герою-пионеру из Керчи, наведя мое внимание на материал жизни и подвига Володи Дубинина. Поляновский пришел ко мне как старый товарищ по газетной работе, бывалый журналист, фронтовой корреспондент и неутомимый «искатель кладов», которые он умеет находить с редкой чуткостью, иногда буквально у нас под ногами...

В повести «Улица младшего сына» изображен обыкновенный городской мальчишка, которого война превратила в быстро повзрослевшего защитника Отечества.

На документальном материале построена и книга Кассиля «Ранний восход» (1952). В ее основе – действительные события из жизни ученика московской школы Коли Дмитриева, трагически погибшего на 15-м году жизни. Выставка работ

юного художника показала, что оборвалась жизнь талантливого молодого человека. Писателю удалось показать живой образ мальчика, которого ждала жизнь и работа большого живописца, но судьба распорядилась по-своему. О Коле рассказано не только как об одаренной творческой личности, но и как об обыкновенном мальчишке, который любит погонять во дворе мяч, и не чужд ребячьим проказам.

С 1947 года Лев Абрамович руководил семинаром детской литературы в Литературном институте имени М. Горького. Студент его семинара Владимир Рынкевич вспоминал: «Высокий и прямой, он появился в дверях аудитории. К преподавательскому столу прошел быстрыми решительными шагами, как, например, шел бы к трибуне опытный, не волнующийся докладчик или молодой полковник проходил вдоль замерших шеренг, рассчитывая, в какой точке остановиться и сказать: “Здравствуйте, товарищи”. Меня удивило его строгое лицо – будто он пришел для того, чтобы ругать нас за что-то. В тот ненастный осенний вечер почему-то не топили, и на нем было серое пальто и серая тирольская шляпа. Он сел, снял шляпу, положил перед собой папку с бумагами и пенал с сигарой, направил на нас взгляд из-под очков с какими-то удивительно большими и внимательными стеклами, и сказал:

– Хочу сразу вас предупредить, что мы здесь *не учим* писать, а *отучиваем*. Отучиваем от безграмотности, от пошлости, от модничанья, от пустословия и еще от многих-многих

вещей, освободившись от которых, только и можно написать что-нибудь дельное».

Лев Кассиль выступал как ведущий программы на новогодних елках в Колонном зале Дома Союзов и в Большом Кремлевском дворце, вел праздничные радиопередачи с Красной площади, работал радиокomentатором на Олимпийских играх и на других спортивных состязаниях, неизменно каждый год открывал в столице Неделю детской книги (первоначально называлась Книжные именины), устраивал в Центральном доме литераторов беседы «Наши четверги», участвовать в которых приглашал известных всей стране людей. Лев Абрамович постоянно разъезжал по стране, выступая в школах, детских домах, пионерских лагерях, библиотеках. Он говорил:

– Не стыдно участвовать в чем бы то ни было, если твердо знаешь, что у тебя есть шанс сделать доброе дело. Пусть небольшое, не способное решить проблему глобально. Но – доброе.

Самое значительное произведение писателя создано на основе автобиографического материала, Первая его часть «Кондуит» была полностью опубликована в 1930 года, вторая часть «Швамбрания» – в 1933 году. В 1935 году оба этих произведения были автором переработаны и объединены в одну книгу с довольно длинным названием – «Кондуит и Швамбрания, повесть о необычных приключениях двух рыцарей, в поисках справедливости открывавших на мате-

рике Большого Зуба великое государство Швамбранское, с описанием удивительных событий, происшедших на блуждающих островах, а также о многом ином, изложенном бывшим швамбранским адмиралом Арделяром Кейсом, ныне живущим под именем Льва Кассиля, с приложением множества тайных документов, мореходных карт, государственно-го герба и собственного флага».

В книге изображена жизнь гимназистов в предреволюционной России и в первые годы после установления советской власти. Главные герои повести – братья-гимназисты. В Лелике писатель изобразил себя, в Оське – своего младшего брата Иосифа. Мальчишки каждый день после уроком придумывают события, которые происходят в стране Швабрании, расположенной на острове посреди Тихого океана. Обширную территорию страны населяют отважные моряки, искатели приключений. Здесь есть своя гимназия, которой руководит директор с толстой книгой «Конduit», куда записывает всех провинившихся. Но, в конце концов, с выдумкой было покончено, ее заменили реальные события – революция и новое устройство жизни.

Книга заражала читателей озорным юмором, увлекательностью сюжета, яркими характерами. Мир в ней предстал в образе забавной путаницы, писатель создал игрушечную модель собственной замечательной страны.

Изображая события Первой мировой войны и Октябрьской революции писатель с большим мастерством показал

жизнь детей в семье и вне ее, изменения их внутреннего мира после крушения Российской империи и прихода к власти большевиков. Скучный взрослый мир им заменяет выдуманная Швамбрания, справедливая и счастливая страна. Писателя в шутку провали Львом Швамбранычем Кондуитом.

Повесть была переведена на многие иностранные языки. В декабре 1962 года американский профессор Джозеф Рассел послал из Нью-Йорка письмо Льву Кассилю по поводу «Страны Швамбрании» (под таким названием книга вышла в английском переводе), которую он впервые прочитал в 1935 году, а теперь ее прочитал и его сын, который просит ответить автора на несколько вопросов:

«Имела ли Швамбрания свой алфавит?

Продолжаете ли Вы играть в Швамбранию?

Что Вы видите похожим на Швамбранию сегодня?

Почему Вы написали о Швамбрании, если хотели сохранить ее тайну?»

Кассиль послал ответ, адресовав его напрямую сыну американского профессора:

«1. Алфавит Швамбрании был прежде русский. Но затем, по мере того, как книга печаталась в других странах, письменность швамбранская менялась. И швамбраны теперь стали полиглотами, говорят на многих языках и пользуются разными алфавитами.

2. В Швамбранию сам я уже давно не играю... Но стараюсь сохранить в себе некоторые черты, которыми отлича-

лись швамбраны: веру в могучие силы справедливости, твердое убеждение, что без мечты жить скучно, и она поможет сделать жизнь на самом деле радостной, счастливой и веселой.

3. В мечтах наших ребят, в дружном труде их старших друзей, делающих жизнь совсем хорошей, многое напоминает мне о думах моего детства. Но сегодня это уже не игра, не выдумка, а великое настоящее дело, в котором изо всех сил стараюсь участвовать и я.

4. Государственную Тайну Швамбрании я позволил себе разгласить потому, что мне очень хотелось, чтобы как можно больше людей научились мечтать и потом находить такое дело в жизни, которое помогает делать задуманное сбывающимся».

Следом за Швамбранией Кассиль выдумал еще две страны – Синегорию (повесть «Дорогие мои мальчишки») и Джунгахору (повесть «Будьте готовы, ваше Высочество!»), объединенных позже в сборник «Три страны, которых нет на карте».

Кассилю принадлежит первый советский роман о футболе – «Вратарь республики», написанный в 1937 году. Его главный герой Антон Кандидов, бригадир артели грузчиков, переезжает из родного города в Москву и здесь становится знаменитым вратарем. Вратарь футбольной команды «Спартак» в 1930—1940-х годах А.М. Акимов писал о себе: «Многие полагали, что Антон Кандидов “списан” с Анатолия Аки-

мова. Нет, если уж говорить откровенно, то скорее Акимов “списан” с Кандидова, по крайней мере, я стремился походить на этого великого футболиста, который хоть и литературный герой, но лично для меня, для моих сверстников вполне реальное лицо, близкий человек и товарищ».

Потом были другие книги о спорте: «Ход белой королевы» (1956) – о лыжных соревнованиях, «Чаша гладиатора» (1960) – о жизни циркового борца, «Спортивные рассказы» (1967). Лев Абрамович был страстно влюблен в футбол, всегда оставался верен своей любимой команде «Спартак», был в дружбе с известными футболистами, нередко вел репортажи со стадионов. Знаменитый футболист и хоккеист, тренер Всеволод Бобров вспоминал: «Среди многих замечательных качеств, которыми обладал Лев Абрамович, едва ли не самым ценным, самым радостным и счастливым для нас было его умение подбодрить, вселить силы, причем делал он это очень тонко, не назойливо».

Кассиль был не только спортивным писателем и журналистом, он был страстным болельщиком. Гроссмейстер Александр Котов писал, что он «бывал и на шахматных баталиях, чаще всего на матчах за мировое первенство. В эти дни он волновался за шахматную корону».

Особые его переживания были связаны с футболом. Кассиль и скончался от инфаркта, когда смотрел по телевизору трансляцию финального матча на первенство мира по футболу.

В романе «Ход белой королевы» автор признается в том, что ему некогда был близок «мир, где гуляет азартный ветер, который жжет морозом щеки на лыжне, хлопает цветными флагами у финиша и раздувает священное пламя олимпийского факела». Писатель с присущим ему темпераментом описывает перипетии напряженных лыжных гонок и ослепительный блеск славы олимпийского чемпиона.

Кассиль никогда не расставался со спортивной журналистикой, он вел репортажи с Олимпийских игр, проходивших в Италии и США, в Австрии и Японии. При этом отличался упрямым и совестливым характером, который подметил писатель Юрий Нагибин: «Вспоминаю Льва Абрамовича Кассиля во время Олимпийских игр в Гренобле. С утра он мчался в крошечном автобусе в Шамрусс, где соревновались горнолыжники, оттуда на трассу лыжных гонок в Отран, затем на стадион к ледовым скороходам и, наконец, в Пале де Иясс на хоккей. Поздно вечером он писал и отстукивал свои корреспонденции, ночью передавал их в Москву. Однажды в хмурый метельный день, когда все журналисты толпились у цветного телевизора, предпочитая наблюдать соревнования в тепле гостиной, а не под режущим ветром стадиона, Лев Кассиль, подняв воротничок пальто и поглубже натянув фетровую шляпу, собрался в Альп д'Юез, самую далекую и высокую точку олимпийских владений, где в ожидании погоды толпились саночники и бобслеисты.

– Зачем вам это надо? – накинулась на него журналист-

ская братия. – Там нечего делать. Туда никто не ездит.

– Вот поэтому я и поеду, – с улыбкой сказал Кассиль».

В творчестве Льва Абрамовича властвовали две главные темы: спорт и дети.

В расчете на юного читателя Кассиль написал книги о знаменитых людях, с которыми был хорошо знаком или вел постоянную переписку, – Константине Циолковском, Владимире Маяковском, Отто Шмидте, Валерии Чкалове. Он был человеком общительным и обладал даром преданной дружбы. Аркадий Райкин вспоминал о нем: «Он никогда не навязывал себя людям, его никогда не было, как говорится, слишком много. Но он всегда неуловимо управлял ходом беседы, сообщал присутствующим – во всяком случае, за себя в этом смысле я ручаюсь – внутренний покой. Что, впрочем, не мешало ему быть человеком страстным, даже азартным».

Друзьями Льва Абрамовича были также академик Николай Семенов, футболист Андрей Старостин, кинорежиссер Сергей Герасимов, актер Аркадий Райкин... Но, конечно, главными друзьями Кассиля были дети.

Сергей Михалков вспоминал: «Нас, знавших и Гайдара, и Кассиля, при всей несхожести творческого поиска этих писателей, поражало их некоторое внутреннее сходство. Оба они были идеальными *вожатыми* детей. Это были люди, которым не надобно было притворяться перед детьми, что им с ними интересно и хорошо. Как и Гайдар, Кассиль до самой своей смерти сохранил нерастраченными самые драго-

ценные, самые привлекательные качества ребенка: безмерную любознательность ко всему новому, неизвестному; искреннюю способность удивляться этому новому; доверчивость и доброту к людям; бескомпромиссное отношение ко злу; стремление выразить свои чувства и мысли в игре; жажду дружбы и общения... Дети любили Кассиля потому, что твердо знали: он никогда перед ними не притворяется. Им с Кассилем было хорошо, просто, интересно, потому что Кассилю с детьми было просто, интересно и очень хорошо!»

Скончался Лев Кассиль в Москве 26 июня 1970 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Вострышев М. И.



Лев Кассиль. 1935 год



Писатель Лев Кассиль и нижегородский журналист Александр Цырульников, 1968 год



Писатель Лев Кассиль беседует с юными читателями



Писатель Лев Кассиль выступает на радио



Писатель Лев Кассиль за работой



Лев Абрамович Кассиль



Кондуит и Швамбрания

Повесть о необычайных приключениях двух рыцарей, в поисках справедливости открывших на материке Большого Зуба ВЕЛИКОЕ ГОСУДАРСТВО ШВАМБРАНСКОЕ, с описанием удивительных событий, происшедших на блуждающих островах, а также о многом ином, изложенном бывшим швамбранским адмиралом АРДЕЛЯРОМ КЕЙСОМ, ныне живущим под именем ЛЬВА КАССИЛЯ, с приложением множества тайных документов, мореходных карт, государственного герба и собственного флага.

Книга 1

Кондуит

Страна вулканического происхождения

Открытие

Вечером 11 октября 1492 года Христофор Колумб, на 68-й день своего плавания, заметил вдали какой-то движущийся свет. Колумб пошел на огонек и открыл Америку.

Вечером 8 февраля 1914 года мы с братом отбывали наказание в углу. На 12-й минуте братишку, как младшего, помиловали, но он отказался покинуть меня, пока мой срок не истечет, и остался в углу. Несколько минут затем мы вдумчиво и осязательно исследовали недра своих носов. На 4-й минуте, когда носы были исчерпаны, мы открыли Швамбраню.

Пропавшая королева, или Тайна ракушечного грота

Все началось с того, что пропала королева. Она исчезла среди бела дня, и день померк. Самое ужасное заключалось

в том, что это была папина королева. Папа увлекался шахматами, а королева – как известно, весьма полномочная фигура на шахматной доске.

Исчезнувшая королева входила в новенький набор, только что сделанный токарем по специальному папиному заказу. Папа очень дорожил новыми шахматами.

Нам строго запрещалось трогать шахматы, но удержаться было чрезвычайно трудно.

Точеные лакированные фигурки предоставляли неограниченные возможности использования их для самых разнообразных и заманчивых игр. Пешки, например, могли отлично нести обязанности солдатиков и кеглей. У фигур была скользкая походка полотеров: к их круглым подошвам были приклеены суконочки. Туры могли сойти за рюмки, король – за самовар или генерала. Шишаки офицеров походили на электрические лампочки. Пару вороных и пару белых коней можно было запрячь в картонные пролетки и устроить биржу извозчиков или карусель. Особенно же были удобны обе королевы: блондинка и брюнетка. Каждая королева могла работать за елку, извозчика, китайскую пагоду, за цветочный горшок на подставке и за архиерея... Нет, никак нельзя было удержаться, чтобы не трогать шахмат!

В тот исторический день белая королева-извозчик подрядилась везти на черном коне черную королеву-архиерея к черному королю-генералу. Они поехали. Черный король-генерал очень хорошо угостил королеву-архиерея. Он поста-

вил на стол белый самовар-король, велел пешкам натереть клетчатый паркет и зажег электрических офицеров. Король и королева выпили по две полные туры.

Когда самовар-король остыл, а игра наскучила, мы собрали фигуры и уже хотели их уложить на место, как вдруг – о ужас! – мы заметили исчезновение черной королевы...

Мы едва не протерли колени, ползая по полу, заглядывая под стулья, столы, шкафы. Все было напрасно. Королева, дрянь точеная, исчезла бесследно! Пришлось сообщить маме. Она подняла на ноги весь дом. Однако и общие поиски ни к чему не привели. На наши стриженные головы надвигалась неотвратимая гроза. И вот приехал папа.

Да, это была непогодка! Какая там гроза! Вихрь, ураган, циклон, самум, смерч, тайфун обрушился на нас! Папа бушевал. Он назвал нас варварами и вандалами. Он сказал, что даже медведя можно научить ценить вещи и бережно обращаться с ними. Он кричал, что в нас заложен разбойничий инстинкт разрушения и он не потерпит этого инстинкта и вандализма.

– Марш оба в «аптечку» – в угол! – закричал в довершение всего отец. – Вандалы!!!

Мы поглядели друг на друга и дружно заревели.

– Если бы я знал, что у меня такой папа будет, – ревел Оська, – ни за что бы в жизни не родился!

Мама тоже часто заморгала глазами и готова была «капнуть». Но это не смягчило папу. И мы побрели в «аптечку».

«Аптечкой» у нас почему-то называлась полутемная проходная комната около уборной и кухни. На маленьком оконце стояли пыльные склянки и бутылки. Вероятно, это и породило кличку.

В одном из углов «аптечки» была маленькая скамеечка, известная под названием «скамьи подсудимых». Дело в том, что папа-доктор считал стояние детей в углу негигиеничным и не ставил нас в угол, а сажал.

Мы сидели на позорной скамье. В «аптечке» синели тюремные сумерки. Оська сказал:

– Это он про цирк ругался... что там ведмедь с вещами обращается? Да?

– Да.

– А вандалы тоже в цирке?

– Вандалы – это разбойники, – мрачно пояснил я.

– Я так и догадался, – обрадовался Оська, – на них набуты кандалы.

В кухонной двери показалась голова кухарки Аннушки.

– Что ж это такое? – негодуяще всплеснула руками Аннушка. – Из-за бариновой бирюльки дитев в угол содят... Ах вы, грешники мои! Принести, что ль, кошку поиграться?

– А ну ее, твою кошку! – буркнул я, и уже погасшая обида вспыхнула с новой силой.

Сумерки сгущались. Несчастливый день заканчивался. Земля поворачивалась спиной к Солнцу, и мир тоже повернулся к нам самой обидной стороной. Из своего позорного

угла мы обзревали несправедливый мир. Мир был очень велик, как учила география, но места для детей в нем не было уделено. Всеми пятью частями света владели взрослые. Они распоряжались историей, скакали верхом, охотились, командовали кораблями, курили, мастерили настоящие вещи, воевали, любили, спасали, похищали, играли в шахматы... А дети стояли в углах. Взрослые забыли, наверно, свои детские игры и книжки, которыми они зачитывались, когда были маленькими. Должно быть, забыли! Иначе они бы позволяли нам дружить со всеми на улице, лазить по крышам, бултыхаться в лужах и видеть кипятик в шахматном короле...

Так думали мы оба, сидя в углу.

– Давай убедем! – предложил Оська. – Как припустимся!

– Беги, пожалуйста, кто тебя держит?.. Только куда? – резонно возразил я.

– Все равно всюду большие, а ты маленький.

И вдруг ослепительная идея ударила мне в голову. Она пронизала сумрак «аптечки», как молния, и я не удивился, услышав последовавший вскоре гром (потом оказалось, что это Аннушка на кухне уронила противень).

Не надо было никуда бежать, не надо было искать обетованную землю. Она была здесь, около нас. Ее надо было только выдумать. Я уже видел ее в темноте. Вон там, где дверь в уборную, – пальмы, корабли, дворцы, горы...

– Оська, земля! – воскликнул я, задыхаясь. – Земля! Новая игра на всю жизнь!

Оська прежде всего обеспечил себе будущее.

– Чур, я буду дудеть... и машинистом! – сказал Оська. –

А во что играть?

– В страну!.. Мы теперь каждый день будем жить не только дома, а еще как будто в такой стране... в нашем государстве. Левое вперед! Даю подходный.

– Есть левое вперед! – отвечал Оська. – Ду-у-у-у-у!!

– Тихай! – командовал я. – Трави носовую! Выпускай пары!

– Ш-ш-ш... – шипел Оська, давая тихий ход, травя носовую и выпуская пары.

И мы сошли со скамейки на берег новой страны.

– А как она будет называться?

Любимой книгой нашей была в то время «Греческие мифы» Шваба. Мы решили назвать свою страну «Швабранией». Но это напоминало швабру, которой моют полы. Тогда мы вставили для благозвучия букву «м», и страна наша стала называться Швамбрания, а мы – швамбранами. Все это должно было сохраняться в строжайшей тайне.

Мама скоро освободила нас из заточения. Она и не подозревала, что имеет дело с двумя подданными великой страны Швамбрании.

А через неделю нашлась королева. Кошка закатила ее в щель под сундуком. Токарь к этому времени выточил для папы нового ферзя, поэтому королева досталась нам в полное владение. Мы решили сделать ее хранительницей швам-

бранской тайны.

У мамы в спальне, на столе, за зеркалом, стоял красивый, всеми забытый грот, сделанный из ракушек. Маленькие решетчатые медные дверцы закрывали вход в уютную пещерочку. Она пустовала. Туда мы решили замуровать королеву. На бумажке мы выписали три буквы: «В. Т. Ш.» (Великая Тайна Швамбрании). Слегка отодрав суконку от королевской подставки, мы засунули туда бумажку, посадили королеву в грот и сургучом запечатали дверцы. Королева была обречена на вечное заточение. О ее дальнейшей судьбе я расскажу потом.

Запоздавшее предисловие

Швамбрания была землей вулканического происхождения.

Раскаленные зреющие силы бушевали в нас. Их стискивал отвердевший, закаменелый уклад старой семьи и общества.

Мы хотели много знать и еще больше уметь. Но начальство разрешало нам знать лишь то, что было в гимназических учебниках и вздорных легендах, а уметь мы совсем ничего не умели. Этому нас еще не научили.

Мы хотели участвовать в жизни наравне со взрослыми – нам предлагали играть в солдатики, иначе вмешивались родители, учитель или городской.

Много людей жило в слободе, ходило по улицам, толка-

лось во дворе. Но мы могли общаться лишь с теми, кто был угоден нашим воспитателям.

Мы играли с братишкой в Швамбранию несколько лет подряд. Мы привыкли к ней, как ко второму отечеству. Это была могущественная держава. Только революция – суровый педагог и лучший наставник – помогла нам вдребезги разнести старые привязанности, и мы покинули мишурное пепелище Швамбрании.

У меня сохранились «швамбранские письма», географические карты, военные планы Швамбрании, рисунки ее флагов и гербов. По этим материалам, по воспоминаниям и написана повесть. В ней, между прочим, рассказывается история Швамбрании, описываются путешествия швамбран, наши приключения в этой стране и многое другое...

География

*Можно убедиться, что земля поката,
– сядь на собственные ягодицы и катись!*

Маяковский

Как и всякая страна, Швамбрания должна была иметь географию, климат, флору, фауну и население.

Первую карту Швамбрании начертил Оська. Он срисовал с какой-то зубоврачебной рекламы большой зуб с тремя корнями. Зуб был похож на тюльпан, на корону Нибелунгов и на букву «Ш» – заглавную букву Швамбрании. Было заманчиво

усмотреть в этом особый смысл, и мы усмотрели: то был зуб швамбранской мудрости. Швамбрании были приданы очертания зуба. По океану были разбросаны острова и кляксы. Около клякс имелась честная надпись: «Остров ни считается, это клякса ничаянно». Вокруг зуба простирался «Акиан». Ося провел по глади океана бурные зигзаги и засвидетельствовал, что это «волны»... Затем на карте было изображено «морье», на котором одна стрелка указывала: «по тичению», а другая заявляла: «а так против». Был еще «пляж», вытянувшаяся стрункой река Хальма, столица Швамбраэна, города Аргонск и Драндзонск, бухта Заграница, «тот берег», пристань, горы и, наконец, «место, где земля закругляется».

Кривизна нашей подножной планеты очень беспокоила Оську. Он сам стремился безоговорочно убедиться в ее круглости. Хорошо еще, что мы не были знакомы в то время с Маяковским, иначе погибли бы Оськины штанишки, ибо, разумеется, он проверил бы покатошь земли собственным сиденьем... Но Ося нашел другие способы доказательств. Перед тем как закончить карту Швамбрании, он со значительным видом повел меня за ворота нашего двора. Около амбаров еле заметно возвышались над площадью остатки какой-то круглой насыпи – не то земляного постамента для часовни, не то клумбы. Время почти сровняло эту жалкую горбушку. Оська, сияя, подвел меня к ней и величественно указал пальцем.

– Вот, – изрек Оська, – вот место, где земля закругляется.

Я не посмел возразить: возможно, что земля закруглялась именно здесь. Но, чтоб не спасовать перед младшим братом, я сказал:

– Это что! Вот в Саратове, я видел, есть одно место – там еще не так закругляется.

Необычайно симметричной получилась на карте наша Швамбрания. Строгим очертаниям швамбранского материка мог бы позавидовать любой орнамент. На западе – горы, город и море. На востоке – горы, город и море. Налево – залив, направо – залив. Эта симметрия осуществляла ту высокую справедливость, на которой зиждилось Швамбранское государство и которая лежала в основе нашей игры. В отличие от книг, где добро торжествовало, а зло попиралось лишь в последних главах, в Швамбрании герои были вознаграждены, а негодяи уничтожены с самого начала. Швамбрания была страной сладчайшего благополучия и пышного совершенства. Ее география знала лишь плавные линии.

Симметрия – это равновесие линий, линейная справедливость. Швамбрания была страной высокой справедливости. Все блага, даже географические, были распределены симметрично. Налево – залив, направо – залив. На западе – Драндзонск, на востоке – Аргонск. У тебя – рубль, у меня – целковый. Справедливость.

История

Теперь, как подобает настоящему государству, Швамбрании надо было обзавестись историей. Полгода игры вместили в себя несколько веков швамбранской эры.

Как сообщали книги и учебники, история всех порядочных государств была полна всякими войнами. И Швамбрания спешно принялась воевать. Но воевать, собственно, было не с кем. Тогда пришлось низ Большого Зуба отсечь двумя полукругами. Около написали: «Забор». А в отсеках появились два вражеских государства: «Кальдония» – от слов «колдун» и «Каледония» – и «Бальвония», сложившаяся из понятий «болван» и «Боливия». Между Бальвонией и Кальдонией находилось гладкое место. Оно было специально отведено под сражения. На карте так и значилось: «Война».

Слово это, черное и жирное, мы вскоре увидели в газетах...

В нашем представлении война происходила на особой, крепко утрамбованной и чисто выметенной, вроде плац-парада, площадке. Земля здесь не закруглялась. Место было ровное и гладкое.

– Вся война покрыта тротуаром, – убеждал я брата.

– А Волга на войне есть? – интересовался Оська.

Для него слово «Волга» обозначало всякую вообще реку. По бокам «войны» помещались «плены». Туда забирали

завоеванных солдат. На карте это тоже было отмечено троекратной надписью: «Плен».

Войны в Швамбрании начинались так. Почтальон звонил с парадного входа дворца, в котором жил швамбранский император.

– Распишитесь, ваше императорское величество, – говорил почтальон. – Заказное.

– Откуда бы это? – удивлялся император, мусоля карандаш.

Почтальоном был Оська, царем – я.

– Почерк вроде знакомый, – говорил почтальон. – Кажись, из Бальвонии, от ихнего царя.

– А из Кальдонии не получалось письма? – спрашивал император.

– Пишут, – убежденно отвечал почтальон, точно копируя нашего покровского почтаря Небогу. (Тот всегда говорил «пишут», когда его спрашивали, есть ли нам письма.)

– Царица! Дай шпильку! – кричал затем император.

Вскрыв шпилькой конверт, император Швамбрании читал:

«Дорогой господин царь Швамбрании!

Как вы поживаете? Мы поживаем ничего, слава богу, вчера у нас вышло сильное землетрясение, и три вулкана извергнулись. Потом был еще сильный пожар во дворце и сильное наводнение. А на той неделе получилась война с Кальдонией. Но мы их разбили наголо и всех посадили в Плен. Потому

что бальвонцы все очень храбрые и герои. А все швамбраны дураки, хулиганы, галахи и вандалы. И мы хотим с вами воевать. Мы божьей милостью объявляем в газете вам манифест. Выходите сражаться на Войну. Мы вас победим и посадим в Плен. А если вы не выйдете на Войну, то вы трусы, как девчонки. И мы на вас презираем. Вы дураки.

Передайте поклон вашей мадам царице и молодому человеку наследнику.

На подлинном собственной ногой моего величества отпечатано каблуком Бальвонский Царь».

Прочтя письмо, император сердился. Он снимал со стены саблю и звал точильщиков. Потом он посылал бальвонскому обидчику «телеграмму с нарочным и заплоченным образом». В телеграмме было написано: «ИДУ НА ВЫ».

В учебнике русской истории подобные предупреждения посылал своим врагам не то Ярослав, не то Святослав. «Иду на вы», – телеграфировал великий князь каким-нибудь там печенегам или половцам и мчался «отмстить неразумным хозарам». Но с таким нахалом, как бальвонский царь, не стоило говорить на «вы», поэтому швамбранский император зачеркивал в сердцах «иду на вы» и писал: «иду на ты». Потом царь приглашал на визит поставщика медицины двора его величества, лейб-обер-доктора, и начинал призываться.

– Ну-с, – говорил лейб-обер-доктор, – как мы живем? Что желудок? Э-э... стул, то есть трон, был?.. Сколько раз? Дышите!

После этого царь говорил кучеру:

– Но! Трогай с богом! Гони их в хвост и в гриву!

И ехал на войну. Все кричали «ура» и отдавали честь, а царица махала из окошка чистым платком.

– Разумеется, из всех войн Швамбрания выходила победительницей. Бальвония была завоевана и присоединена к Швамбрании. Не успели подмести «плац-войну» и проветрить «плен», как на Швамбранию полезла Кальдония. Она была тоже покорена. В заборе крепости проделали калитку, и швамбраны могли ходить в Кальдонию без билета во все дни, кроме воскресенья.

На «том берегу» было отведено на карте место для заграницы. Там жили дерзкие пилигвины – путешественники по ледяным странам, нечто среднее между пилигримами и пингвинами. Швамбраны несколько раз встречались с пилигвинами на плаце войны. Побеждали и здесь всегда швамбраны. Однако мы не присоединили пилигвинов к Швамбранской империи, иначе нам просто не с кем бы стало воевать. Пилигвиния была оставлена для «развития истории».

От Покровска до Драндзонска

В Швамбрании мы обитали на главной улице города Драндзонска, в бриллиантовом доме, на 1001-м этаже. В России мы жили в слободе Покровской (потом город Покровск), на Волге, против Саратова, на Базарной площади, в первом эта-

же.

В открытые окна рвалась визгливая булга торговков. Прямая ветошь базара громоздилась на площади. Хрумкая жвачка сотрясала торбы распряженных лошадемок... Вozy молитвенно простирали к небу оглобли. Снедь, рухлядь, бакалея, зелень, галантерея, рукоделье, обжорка... Тонкокорые арбузы лежали в пирамидках, как ядра на бастионах в картине «Севастопольская оборона».

Картина эта шла за углом в синематографическом электротееатре «Эльдорадо». Кинематограф всегда окружали козы. У афиш, расклеенных на мучном клейстере, паслись целые стада.

От «Эльдорадо» до нашей квартиры шла так называемая Брешка, или Брехаловка. Вечерами на Брехаловке происходило гулянье. Вся Брешка – два квартала. Гуляющие часами толкались туда и назад, от угла до угла, как волночки в ванне от борта до борта. Девчата с хуторов двигались посередине. Они плыли медленно, колыхаясь. Так плывут арбузные корки у волжских пристаней. Сплошной треск разгрызаемых каленых семечек стелился над толпой. Вся Брешка была черна от шелухи подсолнухов. Семечки называли у нас «покровский разговор».

Вдоль Брешки рядом стояли парни в резиновых ботах, напаяленных на сапоги. Парни шикарно согнутым мизинцем снимали с губ гирлянды налипшей скорлупы. Парни изысканно обращались к девчатам:

– Спозвольте причесться. Як вас по имени кличут... Маруся чи Катя?

– А ну не замай... Який скорый! – отвечала неприступная. – Ну, хай тобі бис... чипляйся.

И целый вечер грузно толкалась перед окнами грегочущая, лузгающая хуторская Брехаловка.

А мы сидели в темной гостиной на подоконнике. Мы глядели на полутемную улицу. Мимо плыла Брешка. А на подоконнике воздвигались невидимые дворцы, воздушные замки, распускались пальмы, неслышная канонада сотрясала нас. Разрушительные снаряды нашего воображения рвали ночь. Мы расстреливали со своего подоконника Брешку. На подоконнике была Швамбрания.

Нас доставали гудки волжских пароходов. Они тянулись из далекой глубины ночи, будто нити: одни тонюсенькие и дрожащие, как волосок в электролампочке, другие толстые и тугие, словно басовая струна в рояле. И на конце каждой нити висел где-то в сыром надволжье пароход. Мы наизусть знали азбуку пароходных высказываний. Мы читали гудки, как книгу. Вот бархатный, торжественный, высоко забирающий и медленно садящийся «подходный» гудок парохода общества «Русь». Где-то выругал зазевавшуюся лодку сиплый буксир, запряженный в тяжелую баржу. Вот два кратких учтивых свистка: это повстречались «Самолет» с «Кавказ-и-Меркурием». Мы даже знаем, что «Самолет» идет вверх, в Нижний, а «Кавказ и Меркурий» – вниз, в Астрахань, ибо

«Меркурий», соблюдая речной этикет, поздоровался первым.

Джек, спутник моряков

Вообще, мир для нас – это бухта, заставленная пароходами, жизнь – сплошная навигация, каждый день – рейс. Все швамбраны, само собой понятно, – мореходы и водники. У каждого во дворе ошвартован свой пароход. И самым уважаемым гражданином Швамбрании признан Джек, Спутник Моряков.

Этот государственный муж обязан своим происхождением маленькой книжке «Карманный спутник моряков и словарь необходимых разговорных фраз». Книжку эту, засаленную до прозрачности, мы купили на базаре за пятак, и всю мудрость ее вложили в уста новому герою – Джеку, Спутнику Моряков. Так как в книжке был, кроме краткой лоции и навигации, словарь, то Джек стал настоящим полиглотом.

Он разговаривал по-немецки, по-английски, по-французски и по-итальянски.

Я, изображая Джека, просто читал подряд словарь разговорных фраз. Получалось очень здорово.

– Гром, молния, смерч, тифон, – говорил Джек, Спутник Моряков. – Доннер, блиτζ, вассерхозе!.. Здравствуйте, сударь или сударыня, гоод морнинг, бонжур, говорите ли вы на других языках? Да, я говорю по-немецки и по-французски.

Доброго утра, вечера. Прощайте, гутен морген, абенд, адье. Я прибыл на пароходе, на корабле, пешком, на лошадях; пар мер, а пье, а шваль... Человек за бортом. Ун уомо ин маре. Как велика плата за спасение? Вифиль ист дер бергелон?

Иногда Джек бесстыдно завирался. Мне приходилось краснеть за него.

– Лоцман посадил меня на мель, – сердился Джек, Спутник Моряков, на сто третьей странице, но тут же, на сто четвертой, признавался на всех языках:

– Я нарочно посадил судно на мель, чтобы спасти часть груза...

Наш покровский день мы открываем подходным гудком еще в постелях. Это мы возвращаемся из ночной Швамбрании. Аннушка терпеливо присутствует при утренней процедуре.

– Тихай! – командует Оська отгудев. – Бросай чалку!

Мы сбрасываем одеяла.

– Стой! Спускай трап! Мы спускаем ноги.

– Готово! Приехали! Слезай!

– С добрым утром!

У тихой пристани

Наш дом – тоже большой пароход. Дом бросил якорь в тихой гавани Покровской слободы. Папин врачебный кабинет – капитанский мостик. Вход пассажирам второго класса, то

есть нам, запрещен. Гостиная – рубка первого класса. В столовой – кают-компания. Терраса – открытая палуба. Комната Аннушки и кухня – третий класс, трюм, машинное отделение. Вход пассажирам второго класса сюда тоже запрещен. А жаль... Там настоящий дым.

Труба не «как будто», а настоящая. Топка гудит подлинным огнем. Аннушка, кочегар и машинист, шурует кочергой и ухватами. Из рубки требовательно звонят. Самовар дает отходный свисток. Самовар бежит, но Аннушка ловит его и несет, плененного, в кают-компанию. Она несет самовар на вытянутых руках, немного на отлете. Так несут младенцев, когда они собираются неприлично вести себя.

Нас требуют «наверх», и мы покидаем машинное отделение дома.

Мы уходим нехотя. Кухня – главный иллюминатор нашего парохода. Как говорится, окошко в мир. Туда вечно заходят люди, про которых нам раз навсегда сказано, что это неподходящее знакомство. Неподходящим знакомством называются: старьевщики, точильщики, шарманщики, разносчики, черкесы-слесари, стекольщики, почтальоны, пожарные, нищие, трубочисты, дворники, соседские кухарки, угольщики, цыганки-гадалки, ломовые извозчики, бондари, кучера, дровоколы... Все это пассажиры третьего класса. Вероятно, они самые лучшие, самые интересные люди в мире. Но нас уверяют, что вокруг них так и реют, так и кишат всякие микробы и зловредные бактерии.

Оська однажды спросил даже нищего золотаря, помойных дел мастера Левонтия Абрамкина:

– А правда, говорят, на вас киша-кишмят... нет... кимшат, ну, то есть лазают скарлатинки?

– Ну, – обиделся Левонтий, – какие там скарлатинки?... Это на мне просто так, обыкновенные воши... А скарлатины – такой животной и нет вовсе... Скарланпендра есть, так то засекомая, вроде змеи. В кишках существует.

– А у вас, значит, – обрадовался Оська, – скарлапендра в кишках кишмит? Да?

Абрамкин обиделся окончательно, нахлобучил шапку и сердито захлопнул за собой дверь.

Очень поучительное место эта кухня. В Швамбрании у нас царь сам сидит в кухне и всем другим позволяет. В Покровске перед Рождеством, например, приходят сюда колядовать ребята. Они поют:

Маланья ходыла, Васыльку просыла:

– Васылько, батько мий...

На Новый год является «проздравить» сам городской. Он стучает каблуками и говорит:

– Честь имею...

Ему выносят на блюдце рюмку водки и серебряный рубль. Городовой берет целковый, благодарствует и пьет за наше здоровье. Мы смотрим ему в рот. Крякнув, городской замирает, предаваясь внутреннему созерцанию, словно прислушиваясь, как вливается водка в его полицейский желудок.

Затем он опять щелкает каблуками и прикладывает руку к козырьку.

– Зачем это он? – шепотом интересуется Оська.

– Это он отдает нам честь, – поясняю я. – Помнишь, когда он вошел сначала, он сказал: «Имею честь»? А теперь он ее отдает нам.

– За рубль? – спрашивает Оська.

Городовой смущен.

– Вы что тут торчите, архаровцы? – раздается бас отца.

– Папа, – кричит Оська, – а нам тут полицейский честь отдал за рубль!

– Переплатили, переплатили! – хохочет отец. – Полицейская честь и пятака не стоит... Ну, живо марш из кухни!.. Как это у вас там? Левое назад, правое вперед...

Домашний капитан

Отец – высоченный пышно-курчавый блондин. Это невероятно работоспособный человек. Он не знает, что такое усталость. Зато, наработавшись, он может выпить целый самовар. Двигается он быстро и говорит громко. Когда папа, рассердившись, кричит иной раз на бестолковых пациентов-хуторян, то мы всегда боимся, как бы больные не умерли со страху. Мы бы на их месте обязательно умерли.

Но, кроме того, папа – очень веселый человек. И бывает так: придет к нему больной, у которого «в грудях як огнем

пече», а через несколько минут забудет про грудь и хватается за живот: заболел от смеха... А когда отец начинает грехотать сам, то кошка стремглав бросается под буфет и в аквариуме идет зыбь. К ужасу Аннушки, он выносит маму к обеду на руках. Он ставит ее на пол и говорит: «Вот барыня приехала».

Много веселых слов знает отец.

– Жри да рожу пачкай, – говорит он нам за обедом. – Эй вы, братья-разбойники, кальдонцы, бальвонцы, подберите нюня! – И ущемляет наши носы между указательным и средним пальцами.

И это у него собезьянничал швамбранский царь манеру говорить кучеру: «Дуй их в хвост и в гриву».

Иногда, упорно отстаивая новую койку для общественной больницы, он выступает на волостных сходках. А сход – богатеи-хуторяне – сыто бубнит: «Нэ треба...» Потом в газете «Саратовский вестник» обязательно описывается, как господин старшина призывал господина доктора к порядку, а господин доктор требовал занесения в протокол слов господина Гутника, а господин Гутник на это...

Отец знаком со всей слободой. Нарядные свадебные кортежи почти всегда считают долгом остановиться перед нашими окнами. Цветистая кутерьма окружает тогда наш дом. Брешка засеяна конфетами: их швыряют пригоршнями с саней в толпу. Сотни бубенцов брякают на перевитых лентами хомутах. На передних санях рывкает среди ковров оркестр.

И пляшут, пляшут прямо в широких санях, с лентами и бумажными цветами в руках багровые визжащие свахи.

А еще вспоминали об отце и такое.

В слободе прежде шибко хулиганили. «Фулиганы», как называли их покровчане, были пожилыми семейными людьми... От хулиганов этих в слободе не было житья. Полиция бездействовала.

Жители решили действовать сами. Был составлен список самых матерых разбойников. По этому списку адресов толпа шла из улицы в улицу. Толпа шла и убивала...

Было это глухой ночью.

Один из главарей хулиганской банды скрылся у папы в больнице. Он действительно был серьезно болен. Он умолял спасти его. Он валялся в ногах у папы.

– Бьют вас за дело. Только ваше счастье, что вы заболели вовремя. В данную минуту вы для меня прежде всего пациент, больной. И больше я ничего знать не хочу. Вставайте с пола, ложитесь на койку.

Распаленная толпа осадила больницу. Она ярилась и гудела у закрытых ворот. Отец вышел за ограду к толпе.

– Чего надо? Не пушу, – сказал отец, – поворачивайте-ка оглобли! Вы мне еще тут заразы нанесете в родильный. Дезинфицируй потом...

– Ты, доктор, только бы Балбаша на руки выдал... Под расписку. Мы б его... вылечили...

– У больного Балбашенко, – строго и отдельно ответил

папа, – высокая температура. Я не могу его выписать. И никаких разговоров! И не шумите. А то больные пугаются – это им вредно.

Толпа тихо подвинулась ближе. Но тут из нее вышел старый грузчик и сказал так:

– Доктор, ребята, правильно излагает. Им ихняя специальность не позволяет. Пошли, ребята. А только мы Балбаша и после закончим. Извиняйте за беспокойство.

Балбаша «закончили» через три месяца.

Земля ханонская

Папа очень вспыльчив. В сердцах он оглушительен. Нам тогда влетает «под первое число» и под двадцатое. Нам всыпается и в хвост и в гриву, нас распекают во всю ивановскую, нам прописывают ижицу... Тогда на сцену выступает мама.

Мама у нас служит модератором (глушителем) в слишком бравурных папиных разговорах. Папа начинает звучать тише.

Мама – пианистка, учительница музыки. Целые дни у нас по дому разбегаются «расходящие гаммы», скачут, пиликают экзерсисы – упражнения. Унылый голос насморочной ученицы сонно отсчитывает:

– Раз-ын, два-ын, три-ын... Раз-ын, два-ын...

И мама поет на мотив бессмертного «Ханона»:

– Первый, пятый, третий палец, снова первый и четвер-

тый. Тише руку, не качайте. Пятый, первый...

И все наше детство было положено на эту музыку. У меня до сих пор все воспоминания поются на мотив «Ханона». Только дни, утонувшие в липкой микстуре жара, дни нашего дифтерита, кори, скарлатины, крупа, вспоминаются без аккомпанемента. Мама сама выхаживала нас.

Мама близорука. Она низко наклоняется к попитру, и к концу дня в глазах у нее рябит от черненьких вибрионов, которые называются нотами.

На папином столе в кабинете есть бумагодержатель – тонкая, длинная дамская рука из бронзы зажимает рецепты, почтовые квитанции, счета. Вот у матери точно такие руки. Изнеженной барышней она храбро покинула большой город и уехала с папой в «земство», в деревню, к далекой и глухой Вятке. Там ей суждено было просидеть много бессонных ночей у черного, разузоренного стужей окна. Из окна дуло. Ночник плаксиво моргал. За окном была страшная морозная зга и метель. И где-то в этой студеной, воющей тьме плутал папа, скача на розвальнях в далекое – километров за двадцать – село. Сбоку мерцали огоньки, но то были не дома, а волки. Замирал далекий колокол – маяк метельных ночей. Папа ехал на колокол. Из сугробов вылезало черное село. При зыбком свете лучины, в овчинной духоте, папа делал неотложную операцию. Потом он ехал обратно, вымыв руки.

Гудок разбудил Швамбранию

Зимами по Покровску тоже ходит пурга. Степь снегами и вихрями вторгается в слободу. Всю ночь тогда покровские церкви мерно звонят. Колокол указывает дорогу заблудившимся в степи. Он берет путника за ухо и выводит на дорогу. Но у нас все дома. У нас тепло. За окнами крутится выюжное веретено и сучит тонкую нить, воя в трубе. Это свистит наш дом-пароход, укрывшийся от выюги и всех невзгод в тихой гавани.

У нас обычные гости: податной инспектор Терпаньян, маленький зубной врач Пуфлер. Оська только что по ошибке и ко всеобщему смущению назвал его «зубным порошком». Папа засел за шахматы с податным, а мама играет на рояле менуэт Падеревского. Аннушка вносит самовар. Самовар фыркает на Аннушку: «Фррря...» – и посвистывает: «Фефела...» Веселый податной, как всегда, пугает Аннушку. В сотый раз он изображает, будто хочет сделать Аннушке «бочки». При этом податной издает какой-то особенный, свой обычный пронзительный звук:

– Кркльxxx...

Аннушка в сотый раз пугается, визжит, а податной хохочет и спрашивает:

– Видал миндал?

Папа смотрит на часы и говорит:

– Ну, архаровцы, марш дрыхать! Мы вас не задерживаем. Мы чинно говорим «покойной ночи» и идем отплывать в ночную Швамбранию.

Концы отданы, то есть ботинки сняты. В детской раздаются отходные свистки. Подается команда:

– Левое вперед! Ш-ш-ш-ш-ш... У... у!.. Средний ход! Вперед до полного!.. Полный!

Теперь мы опять швамбраны. Нам надоели тихие пристани, экзерсисы, звонки пациентов и кухонное отчуждение. Мы плывем на вторую родину. Берега Большого Зуба уже встают за тем местом, где земля закругляется. В ракушечном гроте томится королева, хранительница тайны. Дворцы Драндзонска ждут нас.

Прибытие. Я стою на капитанском мостике и нажимаю рычаг свистка. Вырастает гудок.

Длинный подходный гудок. Я открываю глаза. Покровск. Детская. Гудок. В окно бьется тревожный гудок. Вся комната завалена тяжелым, огромным гудком. Гудок ходит по дому, шаркая туфлями.

Гудит.

И тогда в доме оживают звонки. Звонят с парадного. Звонят из кабинета на кухню. Звонит телефон.

Слышен папа.

– Ах, мерзавцы! – разносится по дому. – Что они? Не предвидели? Ну ладно. Есть носилки? Я уже готов. Лошадь выслана? Сейчас буду. В больнице знают.

Гудит, гудит чья-то большая беда.

Мама прибежала в детскую и рассказывает.

На костемольном заводе катастрофа, то есть несчастье: рухнула высокая стена сушилки. Хозяин велел положить на нее слишком много костей для сушки, а она была старая. Хозяина предупреждали. Стена не выдержала, упала. Пятьдесят рабочих под ней осталось. Папа с другими докторами уехал спасать раненых.

Да... Вот как... Вот как... Вот какие вещи происходят, оказывается...

Нет, у нас в Швамбрании этого бы никогда не могло быть. Никогда!

Критика мира и собственной биографии

Вместе со стеной костемольного завода рухнула и наша уверенность в благополучии могущественного племени взрослых. В их мире обнаружили там и сям изрядные мерзости. Мы подвергли мир жестокой критике. Мы установили, что:

Несправедливость.

1. Жизнью заправляют не все взрослые, а только те, кто носит форменные фуражки, хорошие шубы и чистые воротнички. Остальные, а их больше, называются «неподходящим знакомством».

2. Хозяин костемольного, убивший и искалечивший пол-

сотни людей, не подходящих для знакомства, остался ненаказанным. Швамбраны никогда бы не приняли к себе такого.

3. Мы с Оськой ничего не делаем (только учимся), а Клавдюшка, Аннушкина племянница, моет полы и посуду у соседей, а карамель ест только в воскресенье. И она совсем безземельная; у нее нет никакой Швамбрании...

Мы заканчиваем нашу опись мирового неблагополучия тем, что охватываем ее сбоку большой фигурной скобкой. Скобка похожа на летящую чайку. У носика чайки встает жаркое и требовательное слово: Несправедливость.

Езда «в народ»

Позже мы занесли в список несправедливостей и наше воспитание. Сейчас я понимаю, что нельзя особенно бранить наших родителей. Они были только люди своего времени, и, уж конечно, совсем не худшие. Подлый уклад той жизни уродовал нас так же, как наших родителей. Но забавно: наши родители считали, что они не чужды даже демократизма в вопросах воспитания. Например, содеянную нами лужу у аквариума мы должны были вытирать сами. Звать для этого Аннушку запрещалось. Папа с гордостью распространялся об этом у знакомых. Затем в целях воспитания в нас демократических чувств папа предпринимал поездки с нами без кучера. Нанималась таратайка с лошадей. Мы ехали «в народ». Правил сам папа, одетый в чесучовую рубаху. Папа со

вкусом произносил: «тпру», «но», «эй». Но если на узкой дороге впереди показывалась какая-нибудь почтенная дама, возникало затруднение. Папа смущенно просил нас:

– Ну-ка, спойте, ребята, что-нибудь... только громче, чтоб она обернулась. Не могу же, в самом деле, я ей крикнуть. «Эй, берегись!» Тем более это, кажется, знакомая...

Мы пели. Когда это не помогало и дама не сворачивала с дороги, папа посылал меня. Я слезал с таратайки, подходил к даме и вежливо говорил:

– Тетя, мадам... папа просит вас немножко подвинуться. А то проехать нельзя, и мы вас задавить можем нечаянно.

Дамы почему-то обычно обижались, но дорогу давали.

Кончилась эта езда «в народ» тем, что папа однажды опрокинул нас всех в канаву. С тех пор поездки прекратились.

Мир животных

Чтобы внедрить в нас любовь к «малым сим» и облагородить наши души, приобретались различные представители мира животных. Кроме кошек и собак, были рыбы. Рыбы жили в аквариуме. Однажды заметили, что маленькие золотые рыбки стали исчезать одна за другой. Оказалось, что Оська выуживал их, клал в спичечные коробки и зарывал в песок. Ему очень нравился похоронный церемониал. Во дворе обнаружили целое кладбище рыб.

Потом произошла неприятность с кошкой. Кошка отча-

янно исполосовала Оськины руки. Дело в том, что Оська папиной зубной щеткой почистил кошке зубы...

Совсем грустная история вышла с козленком. Это живое начинание постигла полная неудача. Козленка папа купил специально для нас. Козленок был маленький, черный, круглобый, мелко завитой. Он походил на воротник, убежавший с папиной шубы.

Папа принес его в гостиную. Тонкие ножки козленка разезжались на линолеуме.

– Вот, – сказал папа, – это вам. Смотрите ухаживайте за ним хорошенько.

Козленок в ответ на это сказал «бе-е-е» и тотчас посыпал «кедровых орешков» на ковер. Потом он объел обои в кабинете и намочил на кресле. Папа, к счастью, спал в то время после обеда и ничего этого не видел. Мы немного повозились с веселым козленком. Вскоре он надоел нам, и мы забыли о своем курчавом товарище. Козленок куда-то исчез. Через час в пустой гостиной неожиданно раскатисто загремели аккорды пианино. Это нашедшийся козленок прыгнул с разбегу на клавиши. Папа от этого проснулся и заторопился в больницу на вечерний обход. Не зажигая света, он натянул в темноте брюки и, зевая, вышел в столовую. Мы с испугу разом сели оба на один стул. Мама всплеснула руками. Папа взглянул вниз и обмер... Одна из штанин доходила ему лишь до колен. Изжеванные, мокрые, измусоленные клочья висели на ноге... Вот куда исчезал козленок!

В тот же вечер его отвезли обратно к хозяину.

Вокруг нас

Отец и мать работали с утра до вечера, а мы росли, положая руку на сердце, блистательными бездельниками. Нам было оборудовано классическое «золотое детство» – с идеалами, вычитанными из книжек «Золотой библиотеки». У нас была специальная гимнастическая комната, игрушечные поезда, автомобили и пароходы... Нас обучали языкам, музыке и рисованию. Мы знали наизусть сказки братьев Гримм, греческие мифы, русские былины. Но для меня все это померкло, когда я прочел некую книжку, называвшуюся, кажется, «Вокруг нас». В ней просто рассказывалось о том, как пекут хлеб, делают уксус, изготавливают кирпич, льют сталь, дубят кожу. Книжка эта раскрыла мне сложный и занимательный мир вещей и людей, их производящих. Соль на столе прошла через градирню, чугунок со щами – через доменную печь. Ботинки, блюдечки, ножницы, подоконники, паровозы, чай – все это, как оказалось, было изобретено, добыто, сработано огромным умелым трудом людей. Рассказ об овчине был не менее интересен, чем миф о золотом руне. Мне нестерпимо захотелось самому мастерить нужные вещи. Но старые книги и учителя, воодушевленно повествуя о королевских героях, ничего не сообщали о людях, делающих вещи. И из нас растили или белоручек, беспомощных и ник-

чемных, или надменную касту чистоплюев – людей «чистого умственного труда». Правда, иногда нам дарили кубики и кирпичики и предлагали создавать художественные подобию машин. Энергия искала выхода. Мы выкорчевывали пружины диванов, изучая истинное строение вещей, и получали оглушительные нагоняи.

Мы даже завидовали некоему Фектистке, рябому ученику жестянщика. Фектистка презирал нас за наши короткие штаны. Правда, он был неграмотен, зато делал настоящие ведра, реальные совки, подлинные кружки, несомненные тазы и лотки. Но как-то, купаясь, Фектистка показал нам на своем золотушном теле вполне реальные синяки, подлинные кровоподтеки – несомненные следы суровых наставлений хозяина. Жестянщик бил Фектистку. Он заставлял мальчика работать круглый день, кормил его всякой бросовой мерзостью и, дубася по худой Фектисткиной спине, вбивал в него кулаками скобяную премудрость...

Умственность и рукомесо

Мы перестали завидовать Фектистке. Мучительные догадки влезли в наши головы.

Люди умственного труда подчинялись вещам и ничего не могли с ними поделать. А люди-мастера сами не имели вещей.

Когда в нашей квартире засорялась уборная, замок буфе-

та ущемлял ключ или надо было передвинуть пианино, Аннушку посылали вниз, в полуподвал, где жил рабочий железнодорожного депо, просить, чтоб «кто-нибудь» пришел. «Кто-нибудь» приходил, и вещи смирялись перед ним: пианино отступало в нужном направлении, канализация прокашливалась, и замок отпускал ключ на волю.

Мама говорила: «Золотые руки» – и пересчитывала в буфете серебряные ложки.

Если же нижним жильцам требовалось прописать братеньнику в деревню, они обращались к «их милости» наверх. И, глядя, как под диктовку строчатся «во первых строках» поклоны бесчисленным родственникам, умилялись вслух:

– Вот она, умственность. А то что наше рукомерло? Чистый мрак без понятия.

А в душе этажи тихонько презирали друг друга.

– Подумаешь, искусство, – говорил уязвленный папа: – раковину в уборной починил... Ты вот мне сделай операцию ушной раковины! Или, скажем, трепанацию черепа.

А внизу думали:

«Ты вот полазил бы на карачках под паровозом, а то велика штука – перышком чиркать!» Между нашим и полуподвальным этажами поддерживались такие же отношения, какие были в известной сказке у слепого пешехода и его приятеля – зрячего, но безногого. Взаимная тягостная зависимость скрепляла их сомнительную дружбу. Слепой носил на себе товарища. Безногий, сидя на шее приятеля, обозревал

окрестности, устанавливал курс и командовал. Однако все же люди из группы «неподходящее знакомство» сами умели делать вещи. Может быть, они могли бы научить и нас, но... из нас готовили «людей чистого умственного труда», и нам оставалось клеить из бесплатных приложений к журналам безжизненные модели вещей, картонные корабли, бумажные заводы, утешаясь, что на материке Большого Зуба все жители, от мала до велика, не только читают наизусть сказки, но и сами могут хотя бы переплести их...

Бог и Оська

Оська был удивительным путаником. Он преждевременно научился читать и с четырех лет запоминал все, что угодно, от вывесок до медицинской энциклопедии. Все прочитанное он запоминал, но от этого в голове его царил кавардак: непонятные и новые слова невероятно перекувыркивались. Когда Оська говорил, все покатывались со смеху. Он путал помидоры с пирамидами. Вместо «летописцы» он говорил «пистолетцы». Под выражением «сиволапый мужик» он разумел велосипедиста и говорил не сиволапый, а «велосипый мужчина». Однажды, прося маму намазать ему бутерброд, он сказал:

– Мама, намажь мне брамапутер...

– Боже мой, – сказала мама, – это какой-то вундеркинд!

Через день Оська сказал:

– Мама! А в конторе тоже есть вундеркинд: на нем стучают и печатают.

Он перепутал «вундеркинд» и «ундервуд». Но у него были и свои верные понятия и взгляды. Как-то мама прочла ему знаменитый нравоучительный рассказ о юноше, который поленился нагнуться за подковой и должен был потом подобрать с дороги сливы, умышленно роняемые отцом.

– Понял, в чем тут дело? – спросила мама.

– Понял, – сказал Оська. – Это про то, что нельзя из пыли ягоды немытые есть...

Всех людей Оська считал своими старыми знакомыми. Он вступал в разговоры со всеми на улице, сокрушая собеседников самыми непостижимыми вопросами.

Однажды я оставил его одного играть в Народном саду. Оська нечаянно забросил мяч в клумбу. Он попробовал достать мячик, помял цветы и, увидя дощечку «Траву не мять», испугался.

Тогда он решил обратиться к посторонней помощи.

В глубине аллеи, спиной к Оське, сидела высокая черная дама. Из-под соломенной шляпы ниспадали на плечи длинные кудри.

– Мой мяч упрыгнул, где «Цветы не рвать», – сказал Оська в спину даме.

Дама обернулась, и Оська с ужасом заметил, что у нее была густая борода. И Оська забыл про мяч.

– Тетя! – спросил он. – Тетя, а зачем на вас борода?

– Да разве я тетя? – ласковым баском сказала дама. – Да я ж священник.

– Освещенник? – недоверчиво сказал Оська. – А юбка зачем? – И он представил себе, как неудобно, должно быть, в такой длинной юбке лазить на фонари, чтобы освещать улицы.

– Сие не юбка, – отвечал поп, – а ряса зовется. Облачен согласно сану. Батюшка я, понял?

– Сейчас, – сказал Оська, вспоминая что-то. – Вы батюшка, а есть еще матушка. В граммофоне есть такая музыка. Батюшки-матушки...

– Ох ты, забавник! – засмеялся поп. – Некрещеный, что ли? Отец-то твой кто? Папа?.. Ах, доктор... Так, так... Понятно... Про бога-то знаешь?

– Знаю, – отвечал Оська. – Бог – это на кухне у Аннушки висит... в углу. Христос Воскрес его фамилия...

– Бог везде, – строго и наставительно сказал священник, – дома, и в поле, и в саду – везде. Вот мы сейчас с тобой толкуем, а Господь Бог нас слышит...

Он ежечасно с нами.

Оська посмотрел кругом, но Бога не увидел. Оська решил, что поп играет с ним в какую-то новую игру.

– А Бог взаправду или как будто? – спросил он.

– Ну поразмысли ты, – сказал поп. – Ну кто это все сделал? – спросил он, указывая на цветы.

– Честное слово, правда, это не я! Так было, – испугался

Оська, думая, что поп заметил помятые цветы.

– Бог все это создал, – продолжал священник.

А Оська подумал: «Ладно, пусть думает, что Бог, – мне лучше».

– И тебя самого Бог произвел, – говорил поп.

– Неправда! – сказал Оська. – Меня мама!

– А маму кто?

– Ее мама, бабушка!

– А самую первую маму?

– Сама вышла, – сказал Оська, с которым мы уже читали «Первую естественную историю», – понемножку из обезьянки.

– Уф! – сказал вспотевший поп. – Безобразие, незаконное воспитание, разврат младенчества!

И он ушел, пыля рясой. Оська подробно передал мне весь свой диспут с попом.

– Такой смешной весь! – вспоминал Оська. – Сам в юбке, а борода!

Семья у нас была почти безбожная. Папа говорил, что Бог вряд ли есть, а мама говорила, что Бог – это природа, но может наказать. Бог возник когда-то из ночных причитаний няньки, потом он вошел в квартиру через неплотно закрытую дверь из кухни. Бог в нашем представлении состоял из лампадки, благовеста и аппетитного Святого Духа, который шел от свежих куличей. А иногда он представлял какую-то далекую и сердитую силу, которая гремела на небе и следила

за тем, грешно или не грешно показывать язык маме. В книге «Моя первая священная история» была картинка: Бог сидел на дыме и сотворял весь мир на первой странице. Но первая же книжка по естествознанию развеяла дым. Богу больше не на чем было сидеть.

Небесная Швамбрания

Оставалось еще какое-то царство небесное. Когда приходили нищие и Аннушка говорила им «не взыщите», она утешала их и себя, что все нищие, все бедняки и, очевидно, все люди не подходящего для нас знакомства попадут после похорон в царство небесное и будут там прохладиться в райском палисаднике.

Однажды мы с Оськой решили, что уже попали в подобное царство небесное. Соседская горничная Мариша выходила замуж. Она венчалась в Троицкой церкви. Аннушка взяла нас с собой.

В церкви было красиво, как в Швамбрании. Пахло довольно хорошо. Кругом были нарисованы ангелы и разные старики. Они были обложены взбитыми облаками. Хотя на улице был день, горело много свечей. А нищих, нищих было как в настоящем царстве небесном. И все крестились.

Потом вышел главный батюшка и стал изображать, будто он Бог. Он был, как потом рассказывал всем Оська, в большой золотой распашонке, а через голову надел длинную слю-

нявку, тоже всю золотую. Он стал перед тумбочкой, похожей на ночной столик. Перед тумбочкой постелили простыню. Мариша, вся в цветах, как принцесса, встала в пару со своим женихом, и они пошли загадывать и сговариваться, как мы всегда перед тем, как разбиться на партии для лапты. Они прямо ногами стали на простыню. Мы не слышали, о чем они говорили со священником, но Оська уверял, что они загадали и спрашивали у него: «Сундук денег или золотой берег?» А потом будто бы поп сказал: «Агу», а Мариша говорит: «Не могу». Поп жениху: «Засмейся», а жених: «Не хочу». И Мариша немножко поплакала.

– Вот дура! – сказал Оська. – Чего ревет? Ведь это же как будто.

После этого они стали играть в колечки, а когда кончили, поп велел крепко держаться за руки. Мы думали, что они будут играть в разрывушки, но поп стал водить их хороводом вокруг тумбочки. Хор пел непонятно, но нам показалось:

«Кого любишь, поцелуй. Ой-ли-луя, поцелуй».

Мариша выбрала своего жениха, и они поцеловались...

После посещения церкви мы решили, что царство небесное – это такая Швамбрания, которую взрослые выдумали для бедных.

А в нашей Швамбрании я ввел для пышности, а больше смеха ради духовенство (Оська сначала путал духовное сословие с духовым оркестром). Главным швамбранским попом был патриарх Гематоген. Это напоминало патриар-

ха Гермогена. Кроме того, гематогеном называлась липкая, приторная микстура, которой нас пичкали. Католических прелатов звали «ваше преподобие». Мы величали Гематогена «ваше неправдоподобие»...

Покровская золушка

Сказки оканчивались благополучно. Судомойки становились принцессами, спящие красавицы просыпались, ведьмы гибли, мнимые сироты обретали родителей... На последней странице играли свадьбу, на которой мед и пиво по усам текли, но в рот не попадали.

В Швамбрании, в стране наполовину сказочной, все дела красил и венчал благополучный финал. И мы пришли к выводу, что люди бы жили гораздо веселее и счастливее, если бы, живя подобно нам, играли в сказку.

Но оказалось, что сказки хорошо кончаются только в книжках. В действительности же даже сказка приобретала неприятный конец. И в конце правдивой сказки, в которую попробовали сыграть окружавшие нас люди, маячили не медовые усы, а усы городского.

Итак, кто не знает сказки о бедной домашней работнице по прозвищу Золушка-Сандрильона, о ее злой мачехе-эксплуататорше? Кто не слышал о голубях, выбравших из горшка с золой всю гречиху, о доброй фее, доставшей Золушке контрамарку на бал, и о туфельке, потерянной во дворце?

Но вряд ли кто знает, что сказка о Золушке записана в старом штрафном кондуктном журнале Покровской мужской гимназии.

Надзиратель Покровской гимназии Цап-Царапыч изложил на страницах кондуктного журнала новый вариант этой истории. Но Цап-Царапыч был краток и сердит. Поэтому мне придется самому рассказать «О покровской Сандрильоне».

Звали ее Марфушей, была она горничной, временно служила у нас и собирала почтовые марки.

Клейменные орлы

Марки приходили из далеких городов и стран. Под ними, в конвертах, были вложены в строчки поклонны, извещения, просьбы, благодарности, новейшие лекарства от запоров, малокровия и других болезней. Отцу заграничные фирмы слали рекламные проспекты патентованных снадобий.

Но Марфушу не интересовало содержание конвертов.

Вскрытые и опустошенные конверты она выкидывала, предварительно отпарив с них над самоваром марки. В кованом сундуке под Марфушиной кроватью хранились рассортированные по папиросным коробочкам сотни марок.

Конверты на кухню доставляли мы с братишкой.

На основе филателии окрепла наша дружба с Марфушей.

Мы были посвящены во все ее тайны.

Мы знали, что кучер из папиной больницы – Марфушина

симпатия, а приказчик из аптекарского магазина – зазнавала и просто дрянь, потому что он дразнит Марфушу Метламорфозой...

Узнали мы еще также, что если человек чихнет, ему надо сейчас же сказать: «Ахчхи, спичка в нос, пара колес, конец оси, чтоб чесало в носе; чих на ветер, кишки на мешки, жилки на струнку, живот на хомут»... Все... уф!

Вечерами Марфуша открывала сундук, позволяя нам любоваться ее сокровищами.

Здесь были целые комплекты Петров Великих и других монархов. Цари Александры были собраны по номерам: I, II и III. На императорских носах стояли штемпелеванные даты. Клейменные орлы ерошили перья в красных, зеленых, синих четырехугольниках с зазубренными краями. Невиданные львы сидели за решеткой штемпеля.

Мы, благоговей, созерцали эту пеструю коллекцию, а Марфуша, любовно вороша царей и орлов, мечтала вслух:

– Как вот до двух тыщ насобираю, продам. А на их платье сошью туалетное. Спереди обставочка, на заде бант, и кругом вуаль с мушкой. Поглядию тогда, кто меня Метламорфозой обзовет... Поглядию...

Газообразное начальство

Митьку Ламберга исключили из 2-й Саратовской гимназии за непочтительный отзыв о Законе Божьем. Он поступил

в Покровскую гимназию и поселился у нас. Митя называл себя «жертвой реакции» и священным долгом своим считал делать всякие гадости начальствующим лицам. Он говорил:

– Я мстю, то есть, я хотел сказать, мщю, начальству во всех его видах: в жидком, твердом и газообразном.

Начальство в жидком, каплющем состоянии представлялось Мите в виде родителей. Твердым начальством приходилось признать директора гимназии и учителей. Под газообразным, всепроникающим начальством подразумевались правительство, полиция и земский начальник. На земского начальника гимназисты точили зубы по своим соображениям. При этом старшекласники упоминали имена гимназисток Зои Швыдченко и Эммы Угер. Когда кончались уроки, сани земского часто поджидали на углу Зою и Эмму. На городском катке газообразная фигура толстого земского начальника всегда плыла с одной из девочек. Гимназисты хмурили и бросали в земского снежками из-за забора. На заборе был нарисован большой черный котенок и написано «Коток».

Святки

На Святки к нам приехал гостить наш двоюродный брат Витя, молодой художник. Витя был неутомимо весел, изобретателен и носат...

– Оне симпатичные, – сказала о нем Марфуша, – только

уж больно носом здоровы.

На Святках в Коммерческом собрании устраивался большой бал-маскарад для избранного общества. Знакомые дамы готовили костюмы. Нам тоже прислали приглашительные билеты. И тут Мите пришла в голову блестящая идея – насолить земскому на маскараде. Папа принял эту идею восторженно. Витя предложил свои услуги в качестве художника. Стали выдумывать костюмы. Целый день все ходили сосредоточенные и молчаливые. Изредка Митя с сияющим видом вбегал в столовую и кричал:

– Я придумал! Страшно смешное...

– Ну? – говорили все.

– Надо одеться самоубийцей... А на трупе, то есть на костюме, написать: «Прошу в моей смерти винить земского начальника»... Х-ха...

– А музыка при этом играет марш Шопена, – ехидно дополняла мама. – Страшно смешно!

– Да, – грустно говорил папа, – никогда в жизни я так не хохотал.

Сконфуженный Митя становился на голову и, болтая ногами, кричал:

– Вот так и буду назло стоять вверх ногами, пока идеи к голове не прильют!..

В двенадцать часов ночи папа придумал. Он выдумал действительно чудесный костюм.

Кроме того, план папин был вообще замечателен: на мас-

карад направлялась Марфуша и должна была смутить пыльного земского начальника.

Все отправились в кухню.

– Марфа-посадница, – торжественно проговорил папа, – не хотите ли вы пойти на бал-маскарад в Коммерческое собрание?

– Да господи ж! – смутилась Марфуша. – Только ведь туды по пригласительным. Как же я?

– Мы вас сделаем королевой бала, Марфуша. Но для этого нужны... все ваши марки. Что? Жалеете?..

– Марфуша, – проникновенно сказал Митя, – подумайте! В ваших руках судьба земского. В ваших руках судьба... Вы будете королевой бала.

– Эх, уж ладно, – сказала после тяжкого раздумья Марфуша и полезла под кровать за сундуком.

Дни склеены синдетиконом

Два дня весь дом работал над костюмом. Груды искромсанного картона и бумаги лежали на столе в «бариновой кухне», как называла Марфуша отцовский кабинет. Все были перепачканы краской и гуммиарабиком. Тюбики синдетикона источали липучие паутинные нити. Витя ходил, распорядительно задрав нос, и с него капали пот и тушь. Папа безуспешно отдирал от пиджака аргентинскую марку, а мама обучала Марфушу манерам и нескольким английским

фразам. Мы же с Осей превратились в сиамских близнецов, нечаянно сев на обмазанную синдетиконом ленту. Лента прилипла к штанам. Мы крепко приклеились друг к другу.

Вечером, перед маскарадом, надушенную и завитую Марфушу нарядили в совсем уже готовый костюм. Это был громадный почтовый конверт, совершенно готовый к отправлению. Полуаршинные марки были наклеены по углам. На каждую из них пошла добрая сотня Марфушиных марок. Рисунок и цвет марок искусно подобрал Витя. По маркам прошли жирные колеи невероятных штемпелей. Адрес был выведен изящным рондо:

ЗАКАЗНОЕ СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС Улица капитана Гаттераса, дом с террасой, направо ПОЛЯРНАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА Его превосходительству северному сиятельству НАЧАЛЬНИКУ ЗЕМСКОМУ Г-НУ ЭМСКОМУ Обратный адрес: Лондон, Сити. На углу спросите.

Марфушу запечатали в конверт. На голову напялили другой конверт, понятно – во много раз меньший.

По углам тоже пестрели марки. На колпаке-конверте было написано:

Не узнать вам анонима,
Все догадки ваши мимо!
И никто вас не уважит,
Ничего вам не расскажет.

Мани, Тони, Зои, Эммы —
Все сегодня будут немые.

Тфтли Марфуши были также сплошь заклеены марками. Конверты очень шли к Марфуше.

– Ты такая красивая, Марфуша! – сказал ей Оська. – Ты прямо как тетя на картинке «Мойте голову пиксафоном». Даже красивше.

Белая шелковая маска с серебряной бахромой закрыла Марфушино лицо.

Почетным почтальоном был избран Витя.

В городе его никто не знал, да и к тому же он наклеил черные усы и надел черную мамину шляпу со страусовым пером.

Искусственные усы и естественный нос придавали ему вид зловещий и романтический... Не то испанский гранд, не то румынский шарманщик.

Анонимка

Витя лихо подкатывает со своим ценным пакетом к клубу. За освещенными окнами ухает барабан. Музыка завязла в открытой форточке. Витя галантно высаживает Марфушу и снимает с нее шубу. Он раскланивается с неподражаемой учтивостью.

– Труакар вуазем нотр дам де Пари абракадабра! – говорит

он и закручивает примерзшие усы.

Гардеробщики с уважением смотрят на них. С широкой лестницы струится свет, музыка и веселый праздничный гул. Наверху Марфушу сразу окружают и вперебой читают адрес. На минуту хохот заглушает музыку. Но вдруг смех смолкает. Марфуша видит, как в овальные отверстия ее маски wpłyвает растерянная физиономия земского.

Земский читает и краснеет. Но ноги Марфуши, маленькие ножки, оклеенные марками, прельщают земского.

– Гм, – говорит земский, – дорогая анонимочка... разрешите на вальс?

– Ол райт, – говорит анонимочка. – Спик инглиш?

Земский смущен. Инглиш он ни бе ни ме. Богач Адольф Эдуардович Штарк пытается помочь ему. Кое-как они объясняют ей жестами: начальник приглашает ее на вальс. Музыка рывкает. Музыканты раздувают щеки. Кажется, что и стены залы раздуваются от ударов барабана. Музыка выжимает сердце, как мокрый платок. Земский угощает Марфушу мороженым. Штарк тает вместе с мороженым. Земский целует руку анонимке. Дамы ревнуют. По залу ползут догадки и серпантин. Сыплется конфетти. Сыплются на Марфушину тарелочку жетоны – голоса за приз.

– Музыка, стой! – гремит земский начальник. И, разогнавшись, оркестр стихает сразу, как граммофон, у которого кончился завод.

– Господа, – кричит земский, – наибольшее количество

жетонов собрала маска «Письмо». Ей присуждается первый приз – золотые часы! Ура прелестной анонимке, ура!!!
Вскроем письмо!

Зал шумит. Над головой лопаются бомбы конфетти. Кто-то шепчет Марфуше:

– Молодчина, Марфа-посадница, ай молодчина! Дуй дальше!

Митя стоит среди товарищей-гимназистов. Гимназисты хихикают. Митя подходит к земскому. Он говорит:

– Знаете, я, кажется, узнал, кто эта анонимка... Это – известная... Впрочем, что я делаю! Я же обещал молчать!

– Умоляю, молодой человек, – шепчет земский, – плюньте на обещание. Скажите! Хотите мороженого?

– Нет, не просите, – говорит, злорадствуя, Митя и поедает мороженое.

– Вскроем письмо, господа! – кричит земский.

И вдруг в зале появляется носатый незнакомец с длинными усами.

– Каррамба кракатоа мелинсфунд, пепермент доминант септ аккорд олеонафт! – рычит незнакомец на своем тарбарском языке, берет Марфушу за руку и быстро уводит ее к лестнице.

Земский кидается за ним. Маски, домино, арлекины, гусары, цветочные корзины, пиковые дамы, бабочки, испанки, бояре – весь пестрый маскарадный сброд устремляется к лестнице. Устрашающие нос и усы Вити сдерживают любо-

пытство гостей.

Гимназисты как бы нечаянно оттесняют публику. Марфуша запахивается в шубу, сани трогаются.

Витя вскочил на ходу. Они несутся по сонным улицам. У Марфуши смыкаются веки. Фонари, как медузы, шевелят золотые нити. Золушка возвращается на кухню.

Ночью на пустом сундуке тихо щелкают на своих маленьких счетах новые часики.

Счастливая и уставшая, спит Марфуша. Разорванный конверт – шелуха сказочного вечера – пустует у кровати. У порога несут почетный караул четыре пары грязных штиблет. Утром их надо вычистить.

Золушка разоблачена

В газете «Саратовский вестник» в столбце покровской хроники было напечатано:

«В среду в клубе Коммерческого собрания состоялся грандиозный бал-маскарад. Было много интересных костюмов. Наибольший успех имела маска “Анонимное письмо”.

Костюм был прекрасно выполнен в форме почтового конверта с настоящими марками, штемпелями и остроумным адресом.

Вполне справедливо присутствующие присудили костюму первый приз, который и был выдан земским начальником г. Разудановым в виде золотых часов. Несмотря на настойчи-

вые просьбы гостей, маска отказалась открыться и была увезена с маскарада неизвестным лицом. Предполагают, что это была приезжая актриса».

А через два дня, когда город еще томился в догадках, отца вызвали к замигренившей супруге земского. После осмотра пациентки отец пил с земским чай. Разуданов корил папу:

– Что же это вы, батенька, на маскарад не заглянули? Много потеряли, ей-богу. Там такая масочка была, доложу вам, ну-ну... Немножко, правда, меня прокатили, но зато что за ножки! А руки! Породы, батенька мой, породы! Вероятно, иностранка... Из головы не идет!

– Ну, что вы, – скромно сказал папа, – ничего особенного – это наша горничная Марфуша.

– Ка-ак? – откинулся земский, побагровев, и лицо его вытянулось, так как пухлые губы потянулись вниз, а глаза полезли наверх.

Отец, уже не сдержавшись, так загрохотал во все горло, что излеченная было им мигрень у супруги земского снова вернулась на место.

Туфелька сандрильоны

На этом, собственно, кончается рассказ о последней Золушке.

Паж не принес Марфуше на кухню туфельку.

Однако след знаменитой туфельки Сандрильоны отыскал-

ся на страницах кондуитного журнала.

Голуби-сизяки, вытащившие для Марфуши из горшка золотую крупинку, заплатились.

Через несколько дней на парадном крыльце земского начальника был обнаружен резиновый, чудовищных размеров бот.

Бот был накрепко привинчен шурупами к ступенькам крыльца.

В то же утро на заборах были кем-то прикреплены следующие «приказы»:

«Приказ

Приказываю всему женскому населению г. Покровска явиться в кратчайший срок к земскому начальнику для примерки на правую ногу туфельки, утерянной анонимной посетительницей маскарада в Коммерческом собрании. Та, которой туфелька придется впору, будет немедленно назначена земской начальницей. Земский начальник обязуется вечно быть под каблуком этой туфли.

Земский начальник Разуданов».

Рассказывают, что утром, пока полиция еще не сняла бот с крыльца, приезжала хуторянка – услышав о приказе, решила попытать счастья, но нога не полезла.

– Трошки маловат, – с досадой сказала баба и плюнула в бот.

А Мите и еще троим товарищам «за неуместное, пороча-

щее учебное заведение, дерзкое озорство и недостойное поведение в публичном месте» был объявлен выговор и сбавлены отметки в поведении. Таков эпилог, отличающий историю Покровской Сандрильоны от старой сказки о Золушке.

Голубиная книга

Вступительное

Вступительный экзамен я сдавал весной. Дмитрий Алексеевич, домашний учитель, пришел рано утром и заставил меня повторить «коренные слова на ять». Папа перед отъездом в больницу положил свою большую руку мне на макушку, откинул мою голову назад и спросил:

– Ну, как котелок? Варит?

С мамой мы пошли в гимназию. По дороге мама, волнуясь и заботливо оглядывая меня, все говорила:

– Главное, не волнуйся! Говори громче и не торопись. Прежде чем отвечать, подумай как следует.

Дмитрий Алексеевич шел рядом и спрашивал таблицу умножения вразбивку и подряд. До «девятью девять» и до гимназии мы дошли одновременно.

День был полон грамматики. На собирательном базаре сыпались прилагательные, междометия и числительные. На амбарной ветке, проходившей неподалеку от гимназии, неоду-

шевленный паровоз старался сбить меня с толку. Он кричал и двигался, как одушевленный.

Перед самыми дверьми Дмитрий Алексеевич сделался очень строгим, хотя сквозь пенсне видны были его добрейшие, чудесные глаза.

– Ну, теперь руки по швам! – сказал он и внезапно спросил: – А ну, быстро: гимназия – какая часть речи?

– Имя существительное, нарицательное, неодушевленное! – отчеканил я.

– А гимназист?

– Одушевленное...

В это время из двери гимназии выходил огромного роста детина в гимназической форме. Он мрачно и презрительно оглядел мой матросский костюмчик и так же мрачно сказал:

– Ошибаешься, юноша! Брешешь. Гимназист – существо неодушевленное.

Я, потрясенный рыком и ростом этого ученого мужа, почувствовал себя совсем сбитым с панталыку.

В коридоре гимназии было холодно от волнения.

Потом была переключка. Стол, накрытый зеленым сукном. Диктант: «Купи поросенка за грош, да посади его в рожж, так будет он хорошш!» Сердце стучало на весь класс. В дверь класса глядели мамы. Мамы волновались, беспокойно вглядывались в склонившиеся над партами лица: поставят в слове «рожж» мягкий знак или нет?

Я поставил. Но зато от волнения забыл поставить мягкий

знак в собственной фамилии, Потом была письменная по арифметике и устные экзамены.

На экзамене по русскому языку я делал разбор предложения: подлежащее, сказуемое и всякое такое. Подошел священник, протянул мне какую-то книгу на церковнославянском языке. Учитель русского языка, кудрявый, русский и бородатый, неуверенно сказал:

– Батюшка! А ведь это им не требуется, кажется?.. Вообще иных вероисповеданий...

И он почему-то очень смутился, как будто сказал что-то нехорошее. Я тоже покраснел.

– Тем паче необходимо, – строго сказал батюшка. – Вот возьми и прочти. Прочти.

Я прочел и перевел какую-то страницу. Через несколько дней уже было известно, что меня приняли в гимназию.

Забрили! Оболванили!

Лето мы провели на даче в деревне Подлесное, Хвалынского уезда, куда в сосновые и липовые леса увез я казавшееся мне чрезвычайно почетным звание гимназиста. Это звание я гордо нес на вершины хвалынских меловых гор, в ущелья Теремшаня и густые малинники, куда мы тихонько забирались.

В то время Россия, Европа, мир начинали войну.

Мы ехали из Хвалынска на пароходе. На пароход сажали

мобилизованных. На пристанях мальчишки-газетчики кричали:

– Последние телеграммы! Три тысячи пленных! Наши трофеи!

На пристанях бились у пароходных сходен плачущие, растрепанные женщины – старухи и молодки: они провожали мобилизованных отцов, мужей, братьев, сыновей. Отходные свистки заглушали плач, причитанья, нестройное «ура», разнобой оркестра. Пароход разворачивал большую вспененную дугу по воде и давал прощальные гудки. Долго-долго. Короткий перерыв – и опять тревожно... протяжно.

В рубке первого класса звенели в такт машине хрустальные висюльки на люстре. Гремело пианино. Пахло Волгой, ухой и духами. Смеялись дамы.

В окно салона был виден уплывавший крутой берег. По берегу вверх от пристани тянулись тяжело и сиротливо деревенские таратайки.

Проводили...

В нашей каюте пахло по-солдатски от моего новенького ранца. Через день начинались занятия в гимназии.

Дома меня уже ждал форменный костюм. Начиналась гимназическая пора. Прощай, двор и уличные друзья! Я чувствовал себя почти мобилизованным. Дома меня остригли наголо, «оболванили», как сказал отец.

– Совсем зольдат, – говорил портной Виркель, примеряя на мне готовую форму.

Пуговицы

То были торжественные дни всеобщего признания моего величия и длинных брюк на выпуск. Мальчишки кричали мне на улице: «Сизяк!» Сизяками дразнили гимназистов. Я был горд, что меня теперь тоже можно так дразнить.

Солнце сияло на моем животе, отражаясь в латунной бляхе кожаного кушака. На бляхе чернели буквы «П. Г.» – «Покровская гимназия». Выпуклые блестящие пуговицы, как серебряные божьи коровки, выползли на серую гимнастерку. И в первый день, торжественный и страшный, серьезный августовский день, я в новых ботинках (левый чуть жал) поднялся к дверям гимназии.

Прохладный рокот коридора овеял меня. За дверьми в августовском дне остались Подлесное, меловые горы, лето, свобода.

Маленький старичок в мундире с медалью пошел мне навстречу. Он показался мне серьезным и рассерженным, как все в этот день. Помня, что говорила мне мама, я щелкнул каблуками и низко поклонился, сняв за козырек фуражку.

– Здравствуй, здравствуй! – сказал старичок. – Положь фуражечку вон туда. В первый, поди? Вон – третий налево.

Я тщательно и почтительно поклонился еще раз.

– Ну, иди, иди, накланялся! – засмеялся старичок и, взяв из угла щетку, пошел подметать коридор.

В классе сидели здоровенные стриженные ребята. Я оказался чуть ли не самым маленьким. По классу расхаживало несколько громадных детей в потрепанных гимнастерках или выцветших мундирах – второгодники.

Один из них поманил меня пальцем к себе.

– Сидай ко мне.

У меня место свободное. Как твоё фамилие?.. А мое Фью-тингеич – Тпрунтиковский – Чимпарчифаречесалов – Фомин – Трепаковский – По-колено – Синеморе-Переходященский! Повтори без передышки!

Я повторить не смог.

– Ничего, – утешал он, – набобачишься. Макуху лопаешь? Нет? Закурить есть?.. Нема?.. А как мужик яйца на базаре продавал, слышал?

Об этой истории я ничего не слышал. Второгодник сказал, что вообще я большая баба. В это время к парте нашей подошел подвижной, лопоухий и лохматый второгодник. Он внимательно разглядел меня. Сел на крышку парты и быстро спросил:

– Ты доктора сын? Да? Доктор едет на свинье с докторенком на спине! Это чья пуговица? – И он ухватил блестящую пуговицу на обшлаге моей гимнастерки.

– Моя, а то чья же еще? – ответил я.

– А раз твоя, так держи ее! – И, вырвав пуговицу, он сунул мне ее в руки.

– А это чья? – спросил он, берясь за следующую.

Наученный горьким опытом прошлого ответа, я сказал, что не знаю.

– Не знаешь? – закричал лопухий второгодник. – Значит, не твоя?

И, оторвав вторую пуговицу, он бросил ее на пол. Класс загрохотал. Так я остался бы, вероятно, без единой пуговицы, если бы не пришел инспектор. Все встали сразу вместе. Мне это очень понравилось. Инспектор щурил веселые, хитрые глаза. Пушистая, расчесанная надвое, как ласточкин хвост, борода его мела мелкие звезды на лацканах мундира. Инспектор сказал весело и ласково:

– Ну! Стрючки-новички! Отшарлатанили? Погоняли голубей? То-то, сорванцы, горлопаны... Смирно!!! Гавря Степан! Убери брюхо! Спрячь живот в ранец! Второй год сидишь, мерзавец, а стоять не умеешь! В конduit захотел? Ишь, отрастил космы на хуторе. Остригись!

Потом инспектор вынул список и сделал переключку. При этом он нарочно смешно путал фамилии второгодников.

– Туфельд! – кричал он вместо Куфельд. – Варекухонко! – вместо Куховаренко. Дошла очередь до меня.

– Здесь!!! – оглушительно выпалил я.

Инспектор удивился:

– Маленький, а горластый! Вот так взревел! Недаром Львом прозываешься. Сколько лет?

Чтобы угодить второгодникам, я решил сострить:

– Полдесятого!

Инспектор спокойно сказал:

– А я вот тебя, Лев, царь зверей... прохвост этакий, оставлю без обеда до половины десятого, тогда ты узнаешь, как острить. Постой, постой! – закричал он, как будто я хотел куда-то уйти. – Постой! Это зачем у тебя на обшлаге пуговицы? Здесь по форме не полагается, значит, нечего и выдумывать.

Он подошел и взял меня за рукав. Потом вынул из кармана какие-то странные щипцы и вмиг отхватил лишние, по уставу не полагающиеся пуговицы.

Теперь я весь был по уставу.

Наполеон и кондуит

В кондуит я попал очень скоро.

Надо было докупать кое-какие учебники. С мамой и братишкой мы поехали в Саратов.

Занятия уже начались. Заполнилась первая страница гимназического дневника. Повернулись первые страницы учебника, открывшие массу важного и интересного. Я чувствовал себя весьма ученым. Пароходик «Клеопатра», на котором мы ехали, шел мимо давно знакомого острова Осокорья. А я уже видел не просто остров, но «часть суши, со всех сторон ограниченную водой»...

В Саратове, купив учебники, мы зашли сниматься. Фотограф навеки запечатлел негнушующую фуражку с гербом и но-

вые ботинки. Потом мы гуляли по Немецкой. Фуражка стояла над головой, как венец у святых на иконе. Ботинки скрипели и пели, будто орган.

Мы зашли в кафе-кондитерскую «Жан». Мама заказала кофе с пирожными наполеон. В кафе было прохладно и полутемно. В зеркале блестели герб моей фуражки и носки ботинок. Напротив сидел невероятно прямой, сухой господин в форменной фуражке. Господин разговаривал с дамой и смотрел в нашу сторону. Глаза у него были тусклые, снулые, как у рыбы на кухонном столе. Я вгляделся в него и... наполеон застрял у меня в глотке, как в снегах России. Это был наш директор – Ювенал Богданович Стомолицкий.

Я вскочил с губами, липкими от волнения и пирожного. Я поклонился. Сел. Опять встал. Директор кивнул головой и отвернулся.

Мы вышли. По дороге, у дверей, я еще раз поклонился. День был испорчен. Наполеон беспокойно бурчал в животе...

На другой день на большой перемене в класс вошел наш классный наставник. Он потребовал мой дневник и на кондуитной страничке написал:

«Воспитанникам средних учебных заведений воспрещается посещать кафе, хотя бы и с родителями».

Второгодник Кузьменко, взглянув на запись, сказал:

– Эге! Здорово! Это ловко: уже в конduit попал. Молодец, брат. Хвалю за храбрость!

Я, признаться, сначала здорово струсил. Но тут приободрился. Равнодушно пожал плечами:

– Втяпался. Черт с ним!

А кондитерские с тех пор мы стали называть «кондуитерские».

П. Г

Покровская мужская гимназия была похожа на все другие мужские гимназии. Холодные кафельные полы, мытые мокрыми опилками. Длинный коридор. Классы. В коридоре – короткий прибор перемен и отлив уроков.

Звонок. Лязгающий звон его имел два выражения. Одно, в конце урока, – веселое, хихикающее, беззаботное:

«Дунь!.. Жизнь – дребедень!» Другое – в начале урока, когда кончается перемена. Брюзжащая, злая морда:

«Дррррать вас надо, дрянь!» Уроки. Уроки. Уроки. Классные журналы. Кондуит. «Вон из класса!» «К стенке!» Молитвы, молебны. Царские дни. Мундиры. Шитая позументом тишина молебнов. Руки по швам. Обмороки от духоты и двухчасового неподвижного стояния.

Сизые шинели. Сизая тоска. Дни листались страницами дневника. Расписание. Что задано? Балл – отметка. Подписью классного наставника кончалась неделя. И только воскресенье, самый короткий день в неделе, не имело своей графы в дневнике. Все остальное было отчеркнуто «от сих до

сих».

18. Воспитанникам средних учебных заведений запрещается с 1 ноября по 1 марта пребывать вне дома после семи часов вечера.

20. Воспрещается посещение воспитанниками театров, кинематографов и прочих увеселительных заведений без особого на то разрешения г. инспектора для каждого раза. Безусловно воспрещается посещение кондитерских, кафе, ресторанов, мест публичного гулянья и т. д.

Примечание. В г. Покровске таковыми местами являются: Народный сад, Базарная площадь и железнодорожные платформы.

Так было написано в наших гимназических «билетах», и всякий поступок, нарушающий святость устава, грозил кондуитом. Говорят: все дороги ведут в Рим. В гимназии все дороги вели в кондуит. Жизнь каждого сизяка (гимназиста) была вписана в кондуитный журнал. Штрафы, «безобеды», выговоры, исключения из гимназии... Страшная это была книга! Тайная книга. «Голубиная книга».

Есть такое предание, что «Голубиная книга» упала много веков тому назад с неба и написано было в ней будто бы про все тайны мироздания. Замечательная такая книга, вроде кондуита для планет. И никто из мудрецов не смог прочесть ее целиком и понять: слишком глубоки были ее тайные смыслы. Вот такой «Голубиной книгой» казался нам, гимназистам, кондуит, ибо тайны его свято блюлись начальством.

Никто не смел и думать о том, чтоб прочесть кондуитные записи.

Голуби-сизяки

Сизяками называют диких голубей. Сизяками нас дразнили за сизые шинели, которые мы должны были носить. В «Голубиную книгу», в кондуит, была вписана жизнь трехсот «диких голубей». Триста голубей томились в силке.

Город Покровск раньше был слободой. Слобода Покровская. Слобода была богатая. На всю Россию торговала хлебом. На берегу Волги стояли громадные, пятиэтажные деревянные, с теремками, амбары. Миллионы пудов зерна хранились в этом амбарном городке. Тучи голубей закрывали солнце. Зерно грузили на баржи. Маленькие буксирные пароходы выводили громадные баржи из бухты, как выводит мальчик-поводырь слепца.

Жили в слободе Покровской украинцы-хлеборобы, богатые хуторяне, немцы-колонисты, лодочники, грузчики, рабочие лесопилок, костемольного завода и немного русских крестьян. Летом калились до синевы под степным солнцем, гоняли верблюдов. Ездили на займище, дрались на берегу. Гонялись на лодках с саратовцами. Зимой пили. Справляли свадьбы, танцуя по Брешке. Лушили подсолнухи. Зажиточные хуторяне собирались в волостном правлении «на сходку». И если подымался вопрос о постройке новой школы, о

замощении улиц и т. д., горланили обычную «резолюцию»:
– Нэ треба!

Болота и грязь затопляли слободские улицы.

Так жили в слободе Покровской, в семи верстах от Саратова.

И вот великовозрастные сыны этой степной вольницы, хуторские дикари, дюжие хлопцы, были засажены за парты Покровской гимназии, острижены «под три нуля», вписаны в кондуит, затянуты в форменные блузы.

Трудно, почти невозможно описать все, что творилось в Покровской гимназии. Дрались постоянно. Дрались парами и поклассно. Отрывали совершенно на нет полы шинелей. Ломали пальцы о чужие скулы. Дрались коньками, ранцами, свинчатками, проламывали черепа. Старшеклассники (о, эти господствующие классы!) дрались с нами, первоклассниками. Возьмут, бывало, маленьких за ноги и лупят друг друга нашими головами. Впрочем, были такие первоклассники, что от них бегали самые здоровые восьмиклассники.

Меня били редко: боялись убить. Я был очень маленький. Все-таки раза три случайно валялся без сознания.

На пустырях играли в особый «футбол» вывернутыми телеграфными столбами и тумбами. Столб надо было ногами перекатить через неприятельскую черту. Часто столб катился по упавшим игрокам, давя их и калеча.

Сдували, списывали, подсказывали на уроках безбожно и

изоощренно. Выдумывали хитроумнейшие способы. Изобретались сложные приборы. Механизировались парты, полы, доски, кафедры. Была организована «спешная почта», «телеграф». Во время письменных ухитрялись получать решения из старших классов.

Некоторые «назло учителям» нарочно горбились. Так, уродуя себя, согнувшись в три погибели, они стояли в углах, куда их ставили «на выпрямление». Дома же это были прямые, стройные парни.

В классах жевали макуху (жмых), играли в карты, фехтовали ножами, меняли козны и свинчатки, читали Ната Пинкертон. На некоторых уроках половина класса стояла у стенки, четверть отдыхала и курила в уборной или была выгнана из класса. За партами лишь кое-где торчали головы.

В классах жгли фосфор – для вони. Приходилось проветривать класс, и заниматься было невозможно.

Под учительскую кафедру прикрепляли пищалку. Во время урока потянешь за ниточку – игрушка пищит. Учитель бегаёт по классу – пищит. Учитель обыскивает парты – пищит.

– Встаньте и стойте!

Класс на ногах – пищит.

Приходит инспектор – пищит. Весь класс сидит два часа без обеда.

Пищит...

Гимназисты воровали на базаре, дрались на всех улицах с

парнями. Били городовых. Учителям, которых невзлюбили, наливали всякой гадости в чернила. На уроках тихонько играли на расщепленном пере, воткнутом в парту. У расщепленного пера звук нестерпимый, зудящий, как зубная боль: зиньцив...

Директор

Директор Ювенал Богданович Стомолицкий был худ, высок, нескгибаем и тщательно выутюжен. Глаза у него были круглые, тяжелые, оловянные. За это прозвали его «Рыбий Глаз».

Рыбий Глаз был ставленником прославившегося своей мерзостью министра народного просвещения Кассо. Больше всего на свете Рыбий Глаз любил муштровку, тишину и дисциплину. Каждый день, когда кончались уроки, он становился у выхода из раздевалки. Одевшись, мы должны были проходить мимо директора, останавливаться, снимать фуражку за козырек (обязательно за козырек!) и низко кланяться.

Один раз я торопился домой и снял фуражку не за козырек, а за околыш.

– Стой! – сказал директор. – Иди обратно и пройди еще раз. Надо кланяться как следует.

Он никогда не кричал. Голос у него был пустой, бесцветный, как жестянка из-под консервов. Распекая, он говорил: «Скверный мальчишка». Это было самым грозным ругатель-

ством в его устах. Это пахло всегда тройкой по поведению и другими неприятностями.

Всюду, где он ни появлялся, будь то класс или учительская, стихали разговоры; все, встав, напряженно молчали. Становилось душно. Хотелось открыть форточку, громко закричать.

Любил Рыбий Глаз неожиданно зайти в класс во время урока. Класс вскакивал с дробным грохотом парт. Учитель краснел, закашливался на полуслове и казался сам накурившимся гимназистом.

Директор садился у кафедры и следил за тем, чтобы вызываемые ученики сначала кланялись ему, а потом уже преподавателю. А когда приехал однажды попечитель округа, старенький, седой, с большой звездой, то директор, придя с ним в класс, показывал глазами тем, кого вызывали, что сначала надо кланяться попечителю, потом ему, директору, а потом уж учителю.

В кондуите, по милости директора, были такие записи:

Глухин Андрей был встречен г. директором в шинели, надетой внакидку. Оставить на четыре часа после уроков, Гавря Степан... был замечен г. директором на улице в рубашке с вышитым воротником. Шесть часов после уроков. Авдотенко Николай без разрешения не посетил занятий 13 и 14 октября. Оставить на двенадцать часов в классе (в два праздника).

(У Авдотенко Николая 13 октября умерла тетка, у кото-

рой он жил.) Попечитель, приехавший из округа, остался доволен директором.

– Я доволен, милоштивый гошдарь, – шепелявил он директору. – Порядок у ваш обрашцовый.

Учительская

В конце коридора, вправо от кабинета директора, была учительская. Материки и океаны, свернутые в трубку, стояли в углу за шкафом. Громадные круглые очки земных полушарий смотрели со стены. В стекле шкафа отражались «мы, божией милостью» – голубая лента, сусальная борода, пробор с зачесом, ордена, – «царь Польский и прочая и прочая». (Портрет царя висел напротив.) В шкафу лежал кондуит. Кривая белка на шкафу пускала облезшим своим хвостом «гусара в нос» богине. Богиня была старая и гипсовая. Звали ее Венерой. Когда шкаф открывали, богиня легонько качалась, словно собираясь чихнуть. Шкаф открывали тогда, когда надо было достать кондуит. Ключ от шкафа хранился у надзирателя Цезаря Карпыча. Мы его звали Цап-Царапычем и изводили всячески. Он был кривым и ходил со стеклянным глазом... Это Цап-Царапыч всеми силами скрывал. Но стоило ему только повернуться к нам искусственным глазом, как ему уже строились безобразные рожи, показывались «носы», кукиши... Новички, не знавшие, что этим глазом Цап-Царапыч не видит, преклонялись перед храбростью озорников.

Цап-Царапыч был автором доброй половины кондуитных записей. Это на его обязанности лежало следить за поведением учеников в гимназии и вне ее.

Он ловил нас на Брешке, где гимназистам гулять запрещалось. Искал гимназистов по улицам после семи. Приходил на дом, чтоб убедиться, действительно ли болен отсутствующий ученик. Подстерегал гимназистов у кинематографа «Пробуждение». Он рыскал дни и ночи в погоне за пищей для кондуита. Все же гимназисты умудрялись проводить его самым наглым образом. Однажды, например, он настиг целую компанию шестиклассников в кинематографе «Пробуждение». Гимnazисты скрылись в ложе и заперлись там. Цап-Царапыч пошел за городовым. Стали ломать дверь ложи. В зале уже шел сеанс. Тогда шестиклассники оторвали портьеры ложи, связали их одну с другой и спустились по ним в зал. Сначала на экране появились чьи-то болтающиеся ноги, а затем прямо на головы зрителей свалились гимназисты. Публика всполошилась. В суматохе шестиклассники удрали через запасный выход.

Тюлевые полосы папиросного дыма плавали в учительской, обвивая глобусы и чучела птиц. Рядом с кондуитным шкафом стоял стол, на котором лежали комплекты прилежаний и вниманий, единиц и пятерок всех учеников – классные журналы. Их во время перемен просматривал обычно инспектор.

Инспектор

Инспектора Николая Ильича Ромашова гимназисты почти любили. Это был красивый, плотный человек. Волосы ершиком. Темные прищуренные глаза. Языкаст он был, однако, до грубости.

И у него были свои собственные методы воспитания. Если, например, какой-нибудь класс совершал коллективное преступление или не хотел выдать виновных, Ромашов являлся туда после уроков. Он медленно входил в класс и становился перед вытянувшимися гимназистами. Затем, высоко задрав голову, оглядывал класс. Борода его, казалось, мела нас по головам.

– Дежурный, – спокойно-зловеще говорил инспектор, – а ну-ка, дежурный... закрой дверь. Тэ-э-эк-с.

Дежурный плотно закрывал дверь. Гимназисты, проголодавшиеся и уставшие после пяти уроков, стояли не шелохнувшись. Ромашов продолжал разглядывать класс сквозь бороду. Потом он вынимал из кармана книгу, садился за кафедру и углублялся в чтение. Класс стоял. Десять минут. Полчаса...

Просидев так с часик, инспектор вдруг откладывал книгу в сторону и негромким, но звучным баритоном начинал спокойно отчитывать:

– Ну-с! Что, болваны? Доостолопились, хулиганы, бран-

дахлысты, голусятники?! У-у, «хохландия»!.. Голодранцы! При всей честной гимназии ошельмуя, головоотяпы! Шарлатаны! Галахи! Лодыри! Эй, чей это там дурацкий затылок? А-а, это твой, Гавря? Я, кстати, ведь и о тебе говорю. Чего рожу воротишь? Сам – первейший оболтус! Ну, что? Стыдно небось, обормоты? Мерзавцы! Оборванцы! Я еще доберусь до вас, прохвосты. Сидите вот теперь всем классом без обеда. А дома-то обед ждет. Щи горячие. Говядина жареная. Дух идет. – И инспектор щелкал языком и крутил носом. – Что? Хочется жрать? То-то и оно-то. А дома еще бабка зад взгреет. Обязательно. Я записку специальную пошлю: спустите, дескать, вашему сыну штаны и всыпьте ему в задний конduit по первое число... Нечего смеяться, лоботрясы. Шалопаи! Го-ло-во-ре-зы! Безобедники! Срам!

И, поговорив так около часа, отпуская домой. По одному, с промежутками. Нас уже не держали ноги.

АГНЦЫ И КОЗЛИЩИ

Всех гимназистов Ромашов делил на «козлиц» и «агнцев». Так я знакомил нового преподавателя с классом.

– Садись, лоботрясы!.. Это вот, извольте видеть, – агнцы, зубрилки, пятерочники, дуροхлопы. А вот тут – единичники, двоечники, второгодники, безобедники, горлодеры, лодыри, «Камчатка», «Сахалин», «хохландия»... Алеференко! Спрячь живот в ранец. Выпятил!

Рассаживал нас сам инспектор, и таким образом, что на первых партах сидели самые отчаянные, ленивые и плохие ученики. Чем дальше к стенке, к окнам, тем больше пятерок было в дневниках и табелях. Но между «пятерочным» – задним левым углом класса, и «двоечным» – передним правым, существовали по диагонали самые дружеские отношения на основе подсказа и сдувания.

Сказание об Афонском Рекруте

Восемь непонятных записей хранит на своих страницах кондуитный журнал. Восемь загадочно одинаковых записей, помеченных одним днем. Вот что написано в кондуите восемь раз:

Ученику... такому-то... объявлен строжайший выговор с последним предупреждением за злостные хулиганские проступки. Отметка в поведении за четверть 4 – (4 с минусом). Двадцать часов лишения праздника. Предупреждены родители. Классный наставник такой-то (подпись). Надзиратель (подпись).

Восемь записей этих скрывают в себе скандальную и трагическую историю, взволновавшую в свое время весь город. Но никому не известны развязка этой истории, ее конец и истинные участники. В кондуите ни слова нет о фараоне Козодаве, Афонском Рекруте и шалманском дворце мадам Коленкоровны. Покойный гимназический сторож Мокеич по-

ведал мне тайну кондуита. Об этом я и хочу рассказать.

Первый звонок

Лет восемнадцать назад в городе не было электрических звонков. Висели на крылечках проволочные ручки, ну вроде тех, какие в уборной бывают. За ручки дергали. Но вот приехал в слободу (Покровск был тогда еще слободой Покровской) новый доктор, про которого говорили, что он очень уважает науку и технику. Действительно, доктор выписал «Ниву» и провел у себя в квартире звонки с электрическими батареями. На двери рядом с карточкой выпятился беленький кукиш кнопочки звонка. Пациенты нажимали кнопочку, и тогда в передней оживал голосистый звонок. Это страшно всем нравилось. Доктор приобрел громадную практику, а в слободе завелась повальная мода иметь электрический звонок на парадном крыльце. Через пять лет не осталось почти ни одного домика с крылечком, на котором не было бы кнопочки. Звонки звенели на разные голоса. Одни трещали, другие переливались, третьи шипели, четвертые просто звонили. Около некоторых кнопок висели вразумляющие объявления: «Прозба не дербанить в парадное, а сувать пальцем в пупку для звонка».

Покровчане гордились своим культурным звоном. О звонках говорили с нежностью и увлечением. При встрече спрашивались о здоровье звонка:

– Петру Степановичу! Мое вам... Ну, як ваш новенький? Справил мастер?

– Спасибо, справил. О це ж и гарный звоночек. Милости просим послушать. Чистый канарей.

Свахи, расхваливая невесту, хвастали:

– Дом за ей дают флигерем, на парадном звонок ликстрический.

А слободской богач Млынарь завел у себя семь разных звонков на все дни недели. Самый веселый разливался по воскресеньям. В постные дни дребезжали большие звонки самого мрачного тембра.

Когда какой-нибудь звонок переставал вдруг звонить, хозяин сейчас же посылал за Афонским Рекрутом. Рекрут врачевал старые звонки, ставил новые и слыл лучшим «звонковым мастером» в слободе. Слава его была велика. В слободской летописи он занимал столь же почетное место, как Сапсаево озеро – лучшее и поныне болото в Покровске, как Лазарь – лучший из извозчиков, здравствующий и сейчас, как пожар амбаров – лучший из пожаров.

Шалман

Афонский Рекрут жил на базаре, у мясных, пахнущих кровью рядов, в шалмане. Так называли свое неудобное, грязное жильё обитатели его. Рядом с шалманом была большая яма. На дне ее вечно стояли вонючие лужи, и собаки волочи-

ли петли кишок, комья требухи, облепленные золотисто-зелеными мухами. Немного дальше, полный перестука и звона, расположился скобяной ряд.

В шалмане жил Афонский Рекрут. Откуда взялся он, почему его звали так, какого роду-племени он был, никто не знал. А знали его все. Был он крепок и смугл, как каленый орех, худ, гибок, подвижен, как выпел. В левом ухе болталась громадная круглая серьга. Из-под горбатого носа торчали длинные и черные усы. Левый ус загибался кверху, правый – книзу, и усы были похожи на кран умывальника. Белоснежные зубы всегда сверкали в улыбке. Руки были вечно заняты какой-нибудь работой. А руки у Рекрута были, что называется, золотые. Все умел делать. Был механиком, парикмахером, фокусником, часовщиком – чем хотите.

Он был самым уважаемым человеком в шалмане. Все слушались его и любили. Никто не видал его сердитым. Даже когда в шалмане вспыхивала ссора, обнажались ножи, – даже тогда ярче их блистала улыбка Афонского Рекрута. Он, словно из-под земли, появлялся между ссорившимися, разнимал их и, взлетев балаганным чертом на нары, кричал:

– Поштенный публик! Киляля! Последний новейший фокус-покус черной, белой и полосатой с крапинками магии. Мадамы, мусьи и джентельмены! Атанде трошки! Гляйх их бин деманстре фокус-покус! Америк! Аллюра-шкидла!

Из кармана его летели коробки, шарики. Все вертелось над головой. Шляпа садилась на тросточку, стоящую на но-

су, папирасы зажигались из рукавов. Живот пел женским голосом. А рваный ботинок разевал рот и говорил: мерси... В шалмане позабывали про ссору.

Хозяйство в шалмане вела полусумасшедшая Дунька Коленкоровна. Любимцем ее был дурачок Костя Гончар. У Кости была безобидная мания навешивать на себя всякие яркие вещи. По городу он ходил в лохмотьях, на которых висели картинки из «Нивы», крышки чайных ящичков, рекламы папирос «Бабочка» и «Ю-Ю», ландриновские коробки, бусы, бумажные цветы, карты, обрывки сбри, сломанные ложки. В городе его любили, как блажененького, и дарили разные яркие ненужные вещички. До сих пор в Покровске про человека, одевшегося слишком ярко и пестро, говорят: «Ось! Понарядился, как Костя Гончар».

Любил заглядывать в шалман фараон Козодав – городской, охранявший порядок на базаре. Козодав имел все, что полагается иметь образцовому городовому: свирепые усы, бляху, свисток, шашку-«селедку», хриплый раскатистый бас, нос сливой, медаль и шнурочные красные погоны, служившие предметом зависти Кости. Фараон заходил в шалман клюкнуть рюмочку у Коленкоровны, подуться в картишки и побеседовать «за жизнь» с мудрым коммивояжером Иосифом Пукисом.

А еще жили в шалмане золотарь Левонтий Абрамкин, немец-шарманщик Гершта с попугаем, который умел тащить билетки «счастья», чахоточный китаец Чи Сун-ча и два

друга, два вора – Шебарша и Кривопатря.

Черт и «младенцы»

По вечерам в шалман пробирались гимназисты. Здесь можно было пожевать макуху, отдохнуть в хорошем обществе, забыть на часок разграфленную гимназическую жизнь, не боясь нарваться на Цап-Царапыча, сыграть в «очко». Здесь никто не спрашивал, какая отметка будет в четверти по русскому, готовы ли уроки на завтра. Мы были здесь желанными гостями. Вместе с нами жители шалмана горячо возмущались гимназическими порядками, и многие даже готовы были бить латиниста за несправедливую единицу. Особенно горячился тихий вообще Чи Сун-ча.

– Какой зилая латыня, – говорил он, вырезая фестоны из разноцветной бумаги, – лас холосо, засем единиса?

Мы приносили в шалман интересные книжки, последние новости, наши гимназические завтраки, безделушки для Кости Гончара. Взамен мы приобретали некоторые полезные сведения и навыки по части вырезывания замков, чистки ретирад и приемов одесского джиу-джитсу.

Но Афонский Рекрут любил поспорить о прочитанной книге и втягивал нас в эти споры. Над ним сперва потешались: связался, дескать, черт с младенцами, но вскоре в спорах стали принимать участие почти все шалманские обитатели. Кроме того, один из «младенцев», Васька Горбыль, так

отлупил Шебаршу, что к гимназистам стали относиться с полным уважением. Сначала читали легкие книжки. Так мы проплыли «80 000 лье под водой», нашли «Детей капитана Гранта», чуть сами не потеряли головы с «Всадником без головы». А потом Степка Гавря, по прозвищу Атлантида, принес под полой и другие книжки. Затаив дыхание, слушал шалман о парижских коммунарах.

Тайна этих посещений сохранялась гимназистами очень строго.

Даже в классах многие не знали, где проводит время так называемая Биндюгова шайка. Когда в шалман неожиданно заходил Козодав, книжки тотчас прятались, а фараону преподносилась рюмочка. Разомлевший фараон таинственно сообщал:

– Слышь, гимназеры? Раньше как через полчаса не вылазьте. Ваш Цап-Царапыч по Брешке шныряет. Я тогда скажу, как можно станет.

Во саду ли...

В сентябре в Народном саду поредела листва, побурел кохий. Сад стал похож на вытертый воротник старой шубы.

В сентябре на главной аллее гимназисты затеяли с парнями драку.

Пятиклассник Ванька Махась гулял с гимназисткой. Сидящие на скамейке парни с Бережной улицы стали «зары-

ваться».

– Эй, сизяк! Ты с нашей улицы девчонок не замай.

Махась отвел гимназистку к фонтану. Сказал:

– Я извиняюсь. Одну секунду. Я в два счета.

Потом вернулся на аллею, подошел к парню и молча ударил. Парень слетел со скамейки на проволоку, огораживающую аллею. И сейчас же вся аллея покатила в одной общей, сплошной драке. Дрались молча, потому что на соседней аллее сидели преподаватели. Парни тоже понимали это и считали нечестным кричать и тем подводить противников.

Проходившие сторожа разняли дерущихся. Появление Цап-Царапыча окончательно прекратило побоище.

И тогда городская дума попросила директора внести в список запрещенных для гимназистов мест и Народный сад. Директор с полной готовностью согласился. Гимназисты лишились последнего места для гуляния. Они пробовали протестовать, но родительский комитет одобрил приказ директора.

«Идем на вы!»

В тот же день в шалмане состоялось экстренное и тайное совещание. Из гимназистов присутствовали лишь Биндюг и Атлантида.

Атлантида был вне себя от негодования.

– Нет, – волновался он, – это просто чертовщина какая-то!

И так носу сунуть никуда не дают, а тут еще это... Плюю я после этого на весь Покровск.

– Знаете, что я вам предложу? – сказал Иосиф. – Пошлите попечителю телеграмму с оплаченным назадом. Нельзя же молчать. Ведь это прямо какая-то черта оседлости для гимназистов. Тут нельзя, там нельзя... А где можно? Я знаю где?..

– Аллюра-шкидла! Да какие тут к чертям телеграммы! – перебил его Рекрут. – Нет, тут надо поварить котелком. Иесь!

– Размордовать!.. И никаких! – весело посоветовал с верхних нар Кривопатря. Он лежал, свесившись, и сосредоточенно плевал, стараясь попасть в кольцо из сведенных пальцев.

– Нет! – твердо сказал Атлантида. – Этот номер не пройдет, тут треба всему городу накласть... Они все виноваты. И дума, и комитет. Черти свиные!.. И чтоб не всыпаться самим. А то как засвистишь из гимназии... Вот тут и мозгуй.

– У нас ребята дружные, – добавил Биндюг, – как насядем гуртом – держись!

Стало тихо. Заговорщики задумались. Капало с крыши. Вдруг Иосиф вскочил, хлопнул безжалостно себя по лбу и воскликнул:

– Эврика!

Эврика, что значит по-гречески «нашел»! Блестящая идея зародилась в этой голове... Что?

– Да ну, не тяни ты, ради бога! Говори, что ли!

– Что это за колоссающий шум? Вы где, в гимназии или в порядочном шалмане?

– Скажешь ты или нет? Тянет, черт тебя не дери...

– Тсс! Прошу соблюдать тишину! Моя идея – идея-фикус! Она имеет для всех нас только хорошие стороны – и ни одной плохой. Так слушайте же вы... В чем исключается моя заключительная. То есть наоборот! В чем заключается моя исключительная идея. Вы берете и делаете так...

И Иоська стал тощими своими пальцами, как ножницами, стричь воздух. Он стриг таким образом воздух несколько минут, потом обвел всех сияющим взглядом и сказал торжественным шепотом:

– Звонки...

Манифест

Для проведения «звонкорезной» кампании Биндюг назначил восемь отборных ребят из всех классов. Для этого заготовили такие манифесты:

«Ребята! Нам запретили шляться по Народному саду. (Посмотри, не смотрит ли на тебя кто!) Против нас стоят Рыбий Глаз, Дума, Родительский. Выходит, против нас весь город. За это им надо так наложить, чтоб год помнили. Весь Покровск помнил чтоб.

У нас в Покровске все носятся со своими звонками, как дурни с писаной торбой. Ребя! Мы, Комитет Борьбы и Ме-

сти, решили срезать все звонки в городе. Каждый из нас должен срезать в установленный заранее день звонок со своих дверей. Родители за директора.

В тех домах, где нет гимназистов, звонки будут срезаны квартальными ребятами, которым это поручит Комитет Борьбы и Мести лично. Мы проведем «варфоломеевскую ночь» в смысле звонков! Ребята! Режьте без пощады! Нас довели до этого. Нас лишили последнего гуляния и отдыха на лоне и развлечения.

В каждый класс назначаются от Комитета Борьбы и Мести старосты. Слушайте их, господа! Ввиду опасности выкидки даем клички.

1 класс. «Маруся»

2 «..... «Свиц»

3 «..... «Атлантида»

4 «..... «Дон дер-Шиш»

5 «..... «Цибуля»

6 «..... «Сатрап» («Тень отца Хамлета»)

7 «..... «Мотня» («Я – житель»)

8 «..... «Царь Иудейский» Главный... «Биндюг3».

Срезанные звонки сдаются классному старосте. Он передает их через Комитет одному инвалиду, который за это будет давать нам порох, патроны, пугачи и др. О дне «варфоломеевской ночи» будет дан старостами сигнал в виде бело-

го треугольника, присобаченного к окну на стекле.

Не надо ломать большой звонок в учительской, а то догадаться можно, кто. Кто будет об этом звонить, тому так заткнем звонок... Режь звонки!

Один за всех!

Все за одного! Да живет Борьба и Мечь!

Подпишись, передай дальше, кроме Лизарского и Балды.

Ком. Б. и М. 1915 г.».

И пошли гулять по гимназии манифесты под шепот подсказки, в толчее перемен, в накуренной вони уборной. Двести шестьдесят восемь шинелей висело в раздевалке. Двести шестьдесят шесть подписей собрали манифесты. Не дали манифеста сыну полицейского пристава Лизарскому и товарищу его Балде.

Война была объявлена.

«Сорванные голоса»

Через пять дней главари собрались поздно вечером в шалмане. Несмотря на позднее время, все они явились с тяжелыми ранцами за спиной. А в ранцах, там, где бывал обычно многоводный «Саводник» и брюхатый цифрами «Киселев», лежали срезанные кнопки звонков. Белые, черные, серые, перламутровые, эмалевые, желтые, тугие и западавшие кнопки (раз нажмешь – звонит без конца) смотрели из деревянных, металлических кружков, квадратиков, овалов, розе-

ток, лакированных, ржавых, мореных и крашенных под дуб и под орех. Оборванные провода торчали из них, как сухожилия.

Весь город записался в очередь к Афонскому Рекруту. Две недели с утра до вечера привинчивал Рекрут новые звонки, ставил «сорванные голоса», как шутя любил он говорить. Когда же последняя кнопочка была привинчена, Рекрут сказал Биндюгу:

– Крой! Через неделю.

В субботу была грязь. Не одна галоша захлебнулась в лужах, не один резиновый бот затонул на главной улице Покровска. Когда же, теряя галоши, дорогу и силы, покровчане пришлепали из церкви домой, они долго шарили в темноте по дверям, зажигали спички, прикрывая их ладонью от ветра. Кнопок не было. К ночи весь город знал: новые звонки срезаны!..

– Шо ж таке? – волновались на другой день в церкви на обедне, на углах улиц, на завалинках, у ворот. – Матерь Божия! Середь белого дня... грабеж. Мабуть, вони целой шайкой шкодят?..

– Як же!.. Поставила я тесто та и вышла трошки с шабрихой покалякать, с Баландихой. Ну, а у хате Гринька, бильшенький мой, уроки, кажись, учил. Покалякала я трошки, вертаюсь назад, хочу парадное зачинить... шась! Нема, бачу, звоночка... И не было никого округ...

И не знала бедная кума, что ее-то «бильшенький», курно-

сый пятиклассник Гринька, сам и срезал звонок...

Земский и сын

Уныние царило в городке. Новых кнопок уже не ставили. Гимназисты торжествовали. На всех дверях печально пустовали невыгоревшие светлые кружки с дырками от гвоздей.

Только земский начальник позвал Афонского Рекрута.

– Ставь новый! – сказал земский. – Ставь, подлец! Да крепче! Знаю я вас, чертей афинских... Все ваши шахер-ма-херы знаю.

Земский погрозил пальцем. Рекрут насторожился.

– Нечего, нечего прикидываться! Знаю. Норовишь, чтоб чуть держался, поставить. Чтоб легче хулиганам этим было. Вам, архаровцам, одна выгода. Они сорвали, а тебе, черномазое жулье, заработок. Ну, на этот раз шалишь! Я городского поставлю. Круглые сутки дежурство.

Рекрут привинтил новый звонок и побежал в шалман, где ждали его гимназисты. Рекрут объявил:

– Земскому новую пупырку присобачил. Резать нельзя. Фараон караулить будет.

– Плевал я на всех фараонов! – упрямо крикнул гимназист Венька Разуданов, сын земского начальника, по прозвищу Сатрап. Коренастый, упрямоголовый, он сильно смахивал на отца. (Отсюда и пошло его второе прозвище – Тень отца Хамлета.) – Послушайте, вы, воинствующий мальчик, –

сказал Иосиф Пукис, – что это за апломбированный тон? Как бы вы не сняли вместо звонка вот эту гербовую фуражку. Зачем залазить на рожон? Осторожность прежде всему.

– Верно, Сатрапка, смотри... Если вляпаешься – вот! Приложу... – И Биндюг поднес к носу Сатрапа свой чудовищный колотушкообразный кулак.

Как всегда, кулак подвергся тщательному и любовному обсуждению. Все щупали кулак и восхищались:

– Дюжий кулак! Поздоровче моего.

– Хороший кулак в наше время лучше неважной головы, – философствовал Иосиф.

– Холеси кулак, – восхитился Чи Сун-ча, – такой кулак палаходя босьман. О! Зюбы ньет!

– А звонок я все-таки срежу! – упрямо буркнул сын земского.

Глава почти кинематографическая, в которой читатель, видя наверху ноги, а внизу голову, может крикнуть автору: «Рамку!»

Тьма.

Потом, когда глаза наши привыкли, мы видим дверь с дочечкой: «Земский начальник Геннадий Вениаминович Разуданов». – Около новенькая кнопочка звонка. Площадка вто-

рого этажа. Кусок лестницы. Внизу, под лестницей, – голова с длинными усами и толстым носом. Фуражка с кокардой. Это Козодав. Ему холодно. Он ежится. Он подымает воротник. Он часто моргает. Глаза слипаются. Козодаву хочется спать.

Часы в столовой земского начальника показывают два. На столе стакан молока и бутерброд. Кому-то оставлено...

По лестнице поднимаются ноги. Резиновые галоши в грязи. Одна нога спотыкается о ступеньку:

– Тьфу, дьявол! Темно, как у негра под мышкой. Вспыхивает спичка. Рука в изящной перчатке подносит спичку к звонку. Спички одна за другой долго вспыхивают и тухнут.

– Ну, на этот раз Рекрут постарался!

Внизу голова Козодава. Наверху ноги в резиновых галошах. Козодав, который на минутку заснул, очухавшись, тяжело вбегает наверх...

– Ага! Попался! – Надувшись, топорща усы, он свистит. Другой рукой он поймал неизвестного за шиворот. Свистит. – Каррраул!.. Пымал!

Неизвестный спокойно оборачивается и властно отрывает от себя руку полицейского. Это сын земского, Венька Разуданов. Он негодует:

– Ты что, болван, спятил? А? Заставь дурака...

– В... в... винов... ват-с! Не признал в темноте-с. Сделайте божескую милость, простите. Думал, за звонком кто...

Дверь раскрывается. Земский в женином капоте, с дву-

стволкой в руках вылезает на площадку, и из-за его спины выглядывают испуганные, заспанные лица жены, свояченицы и прислуги.

– В чем дело?!

Козодав стоит вытянувшись, рука к козырьку. Веня объясняет:

– Этот дурак со сна принял меня, папа, очевидно, за бандита. А звонок сам проспал.

Все смотрят на дверь. Там, где только что был звонок, – обрывки проводов и дырочка от гвоздей. Все поворачиваются к Козодаву. Козодав подходит к дверям, не верит глазам, щупает место. Потом разводит руками. Земский трясет его за шиворот:

– Вон, мерзавец! Проспал!

Венька разыгрывает обиженного и взволнованного.

– Я так устал, мама. Занимался все время... А тут это...

Ну, тут идут дела семейные. Поцелуй, там, диафрагма – словом, конец главы.

Из кармана Венькиной шинели торчат обрезанные провода и упорно поблескивает кнопка.

Фараон вызывает Иосифа

Пристав сказал Козодаву:

– Чтоб у меня эти звонкорезы были пойманы! Слышишь? Оскандалился, черт тебя бы не взял, на весь город!.. Пойма-

ешь – пятьдесят рублей награды. Нет – так ты у меня попрываешь, бляха номер два ноля!

Фараон с рвением взялся за розыски. Он шел по базару... Не шел, а плыл. Красные шнуры погон на его богатырских плечах взлетали, как весла, в людской реке базара. И на базаре Козодав встретил Костю Гончара – шалманского блаженного, пестрого Костю. Разукрашенный, как рождественская елка, бродил Костя по базару. Две новые реликвии лучились на его брюхе: реклама галош «Треугольник» и... большая красная розетка с кнопкой от звонка. Увидев звонок, фараон кинулся к Косте. Он пообещал Косте, если тот скажет, откуда у него звонок, подарить красные погоны, золотые вишюльки и все, что угодно. Костя, улыбаясь, рассказал все... Рассказал, как украл звонок из-под нар Рекрута.

– Рекрут сховал, а я пошукал трошки, та и взял... Там их сколько много!.. Раз, та еще двадцать раз, та еще...

Козодав пообещал еще тысячу разных ярких вещей. Костя принес ему обрывки «Манифеста Борьбы и Мести». Главари были в руках. Чтобы словить остальных, фараон решил соблазнить Иосифа. Он явился в шалман и сел на его нары, дипломатически покашливая.

– А-а, господин лейб-городовой, – приветствовал его Пукис, – вы до меня? Чем могу быть нужным?

Фараон придвинулся поближе, огляделся, толкнул Иосифа локтем в бок.

– Ох, Иосиф, як бачу я, и хитрый же ты! А ну-ну, расска-

жи, як с Рекрутом звоночек срезали. Я никому ни-ни. Так, послушать охота. Ну, брось корежиться.

– Я ни капли вас не понимаю. – Иосиф сделал удивленно-спокойное лицо. – Хотя я и Иосиф, а вы фараон, но я не могу понять, откуда вам это приснилось...

Козодав вынул бумажник и зашелестел радужными бумажками. Иосиф спокойно продолжал:

– И потом, мне кажется, не в обиду вам пусть сказано, что вы, господин лейб-городовой, вы колоссающий обер-подлец!

Козодав погрозил кулаком, хлопнул дверью и вышел. По дороге он остановился. Вынул манифест. Начало и конец были оборваны, но список старост остался нетронутым. Поразмыслив, Козодав вырезал из манифеста Сатрапа, сына земского начальника. «Земский за эту бумажку пятишку даст, – решил городской, – а не то и его сынка попрут». Поправив фуражку, фараон пошел в участок, а оттуда в гимназию, к директору...

Шаги в коридоре

Скучный ветер студил лужи, как чай на блюдечке. Звенели телефонные провода. В десять телефонная барышня соединяла звенящими в ветре проводами полицейский участок с зеленым кабинетом за учительской. Директор, зеленый, как обои его кабинета, и медлительно безрадостный, как диктант, повернул рукоятку телефона, откинулся в крес-

ло, снял трубку и поднес ее к уху.

– Да, – сказал он, – слушаю.

В гимназии шли уроки. И через полчаса во всех классах услышали: по коридору прошли двое. У этих двоих были тяжелые незнакомые и недобрые шаги. У одного, ступавшего тяжко и кряжисто, скрипели сапоги. Другой на каждом шагу чем-то позванивал, тренькал. В классах прислушивались. Подняли головы от тетрадей, шпаргалок, щелей в парте, от запретных книжек и козырного валета. На дверях остановились настороженные взгляды.

Развязка

В третьем шла письменная по математике. Коридор опять затих. Скрипели перья. Биндюг сморозил что-то в задаче. Не выходило по ответу. Шаги в коридоре совсем сбили с панталыку. Степка-Атлантида, у которого сердце тоже екнуло, увидев друга в затруднительном положении, послал ему записку:

«Свинья не выдаст, директор не съест».

Но свинья выдала... Дверь класса раскрылась. Класс грохнул партами. Вошел мерзостно-ликующий Цап-Царапыч, играя брелоком-ключиком. Ключик был от шкафа, где лежал конduit. Цап-Царапыч вызвал:

– Гавря! К директору!

Атлантида растерянно вырос над партой. Цап-Царапыч

заторопил:

– Ну, живо! Поворачивайся. Книги возьми с собой...

Класс взволнованно загудел. С книгами!.. Значит, совсем. Не вернется...

Биндюг ждал, словно под удар наклонив голову, но Цап-Царапыч молчал. Козодав, убоявшись Биндюговых кулаков, вырезал и его из списка.

Атлантида дрожащими руками собрал книги, взял ранец и пошел к двери. По дороге незаметно сунул Биндюгу свернутую в трубочку бумажку. В дверях Атлантида остановился и хотел что-то сказать, но Цап-Царапыч вытолкнул его за дверь. Класс томительно молчал. Учитель математики нервно протирал запотевшие стекла очков...

Биндюг расправил бумажку, которую ему дал Атлантида. На бумажке было полное решение задачи, не выходявшей у Биндюга. Степка и в последнее мгновение не забыл друга, помог. С минуту Биндюг сидел неподвижно, опустив голову и уткнувшись глазами в одну точку. Потом вдруг встал, качнулся над партой, вобрал воздуха во всю свою широкую, как рыдван, грудь, избычился и решительно сказал:

– Можно выйти?

– До конца урока осталось десять минут, – сказал учитель.

– Можно выйти? – упрямо выдыхнул Биндюг и шагнул в проход.

– Идите, если вам так приспичило.

Замерший класс увидел, что Биндюг собрал книги, торо-

пясь, попихал их в ранец и грузно пошел с ним к дверям. Небывалая тишина наступила в третьем классе.

Не оглядываясь, Биндюг вышел в коридор. В пустом коридоре Биндюг почувствовал себя маленьким и обреченным. И он услышал, как за дверью в страшном немении покинутого им класса полыхнул, взвился над партами, чернильницами, кафедрой тонкий хохот и перешел в захлебывающийся визг. Это на первой парте, не выдержав, забился в истерике маленький Петька Ячменный...

Биндюг расправил плечи и зашагал в кабинет директора.

Восемь

Козодав сопел. Он сопел и тыкал пальцем в стоящих перед ним гимназистов.

– Так точно! Это вот – Свищ. А этот-с – Атлантида-с. Ихняя кличка такая-с.

Другой, позванивая шпорами, раскачивался, откинувшись на спинку стула, и крутил черные усики:

– Так-с, так-с... Ай да конспирация!.. Так-с, молодые люди.

Семеро стояли перед столом. Семеро, так как сына земского начальника не было. Копоть тоски и отчаяния оседала на лица.

– Так. Отлично, – сказал резко и сухо директор, словно щепка треснула, – благодарю вас... Ну-с, скверные мальчиш-

ки! Что вы можете сказать? Стыд! Срам! Позор! Кто был еще с вами? Не скажете? Скверные, отвратительные мальчишки. Мародеры! Вы все будете исключены. Вы позорите герб. Разговоры бесполезны. Пришлите родителей. Мне их очень жалко. Иметь таких детей – большое горе для родительского сердца. Дрянь.

Семеро вскинули глаза и тяжело вздохнули. Родители... Да... Сейчас дома будут слезы матери. Ругань. Отодвинутый с грохотом стул отца. Может быть, оплеуха. Стынувший обед... «Водовозом будешь, скотина!..» Пустые дни впереди.

И Царь Иудейский грубо сказал:

– Не будем касаться родителей, Ювенал Богданыч! И так тошно.

– Молчать! Вы что, волчий билет захотели, скверный мальчишка?

В это время вошел Биндюг. Он уперся в край стола. Стол закрипел. Биндюг, тяжело двигая челюстью, разжевал:

– Я тоже, Ювенал Богданович... Я... их главный.

– Ну что ж. Можешь считать себя свободным. Ты тоже исключен.

В раздевалке стало меньше на восемь шинелей. Восемь человек побрели по размякшей площади, увязая в грязи, согнувшись под тяжестью ранцев и беды. В последний раз они оглянулись на гимназию, и один из них – это был Биндюг, в классе из окна видели – злобно погрозил кулаком. И в классах всем, кто видел их, захотелось кричать, трахнуть кула-

ком по парте, опрокинуть кафедру, догнать ушедших... Но в классах сидели гимназисты. А гимназистам запрещалось шуметь и быть товарищами, пока им не разрешал этого звонок, отмеривающий порции свободы.

Перья скрипели и кляксили.

Пукис – бенефициант

А к середине пятого урока в тихий коридор вошел серьезный Иосиф Пукис. Мокеич, сторож, опилками мыл пол. Иосиф вежливо поздоровался и сказал вкрадчиво:

– Господин обер-швейцар! Мне бы так треба видеть господина директора. Дело идет о жизни, и наоборот.

Директор принял Иосифа в учительской. Директор торопился:

– Ну-с? Чем могу?.. Э-э... Прошу не задерживать.

– Господин высший директор, – начал Иосиф, – я – старый блуждающий еврей, и я вижу на вашем лице семейное счастье. Бьюсь об закладку, ваши дети не будут ходить босы и наглы.

– Короче! – сухо перебил директор. – У меня нет детей. И, кроме того, нет времени...

– Одно маленькое мгновение, господин директор. Вы сегодня исключили восемь ребят. За что вы их исключили, я вас спрашиваю? А я имею право спрашивать? Нет! И еще двадцать раз нет. Но у меня мягкое сердце. А когда мягкое

сердце, так нельзя молчать. Мне очень жалко за мальчиков. А еще больше мне жалко за родителей, которые нянкали и росли этих мальчиков. Господин директор, у вас нет детей. Дай вам бог, чтобы они у вас были. Вы не знаете, как это – ой-ой-ой – больно, когда приходит ваш мальчик и...

– Будет! – Директор встал. – Бесплезный разговор. Выход на улицу вон в ту дверь.

– Одну маленькую минуточку! – закричал Иосиф, хватая директора за рукав. – А вы знаете, что эти звонки, чтоб они пропали, резали все ваши мальчики? Сколько учится их у вас всего?

– Двести семьдесят два учились до сего дня, – машинально ответил директор.

– Так из них резало двести шестьдесят самое меньшее. Что вы на это скажете? А что, если я скажу, что ваш лучший ученик, сын господина высшего земского начальника, дай бог ему здоровья, резал, и даже лучше многих? Полиция вам показала кусочек.

И Иосиф вынул полный манифест и показал директору. Директор побледнел. Подписи всех восьми классов стояли на манифесте. Директор брезгливо протянул Пукису руку.

– Садитесь... пожалуйста...

Тогда Иосиф изложил свой план. Мальчиков принимают в гимназию обратно. Полиция делает обыск в шалмане и находит звонки. Афонский Рекрут пока скроется. С ним все уже договорено. Все будут думать, что звонки резали бродя-

ги из шалмана, гимназисты будут оправданы. Скандал будет потушен. Если же директор не примет обратно мальчиков, весь город, вся губерния, весь учебный округ узнает завтра же и о порядочках в Покровской гимназии, и о том, как ведет себя дети земских начальников...

– Хорошо, – выдавил директор, – они будут приняты обратно. Мы им запишем только в кондуит. И он вынул бумажник.

– Сколько вам следует за это, – спросил директор, – за это... и еще за то, чтобы вы молчали?

Иосиф вскочил. Иосиф перегнулся через стол. Иосиф сказал:

– Господин директор! Вам не придется платить мне, господин директор... Но, клянусь памятью моей матери, да будет ей земля пухом и прахом, что будет такое время, когда вам заплатят и я, и мы, и те восемь, которые пошли, как выгнанные собаки... и заплатят с хорошими процентами!

Так кончается сказание об Афонском Рекруте.

«Журавли» и «лебеди»

После скандала со звонками гимназия временно как будто немного притихла. Кровопролитные мордобития, кражи и дебоши стали пореже. Зато режим в гимназии сделался еще суровее.

И Цап-Царапыч то и дело потрясал гипсовые основы ан-

тичного искусства, отпирая шкаф с кондуитным журналом и беспокоя преклонных лет Венеру.

Строжайше были запрещены прогулки по платформе и Народному саду. Серая, тоскливая нудь сочилась изо дня в день, с одной странички учебного дневника на другую. Кондуит свирепствовал. На уроках у стен выстраивались рядами наказанные. В журналах выстраивались осенними журавлями косяки носатых единиц. Лебедями плыли двойки.

Три «е» и «Тараканий Ус»

Особенно рьяно разводил «журавлей» и «лебедей» учитель латинского языка Вениамин Витальевич Пустынин, прозванный за длинные, торчком стоящие усы «Тараканий Ус», или, «по-латыни», «Тараканиус».

Была у него и другая весьма распространенная в нашем классе кличка: «Длинношее».

Был Тараканиус худ, носат и похож на единицу. Шея у него была длиннющая, по-верблюжьки раскачивалась она над крахмальным воротником с острыми углами. Однажды на уроке Гавря, желая потешить класс, спросил Тараканиуса:

– Вениамин Витальч! Хотя у нас сейчас не русский, объясните, пожалуйста: ведь есть такое слово, которое на три «е» кончается?

– Есть, – ничего не подозревая, ответил Тараканиус, – есть! Например, вот: длинношее.

Класс грохнул. Гавря, торжествуя, сел. С того дня Тараканиуса в классе и всюду встречали три громадные буквы «Е». Они глядели с классной доски, с кафедры, с сиденья его стула, со спины его шубы, с дверей его квартиры. Их стирали. Назавтра они появлялись снова.

Тараканиус бледнел, худел и ставил единицы в тетрадках и дневниках.

У него была страсть к маленьким тетрадочкам, куда мы записывали латинские слова. Вызывая на уроке ученика, он непременно каждый раз требовал, чтобы у нас на руках была эта тетрадка.

– Тэк-с, – говорил он, – урок, я вижу, ты усвоил. Ну-с! Дай-ка тетрадочку. Посмотрим, что у тебя там делается. Что?! Забыл дома?! И смел выйти отвечать мне урок без нее! Садись. Единица.

И никакие просьбы, никакие мольбы не спасали. Единица!

В нашем классе были два ученика – Алексеенко и Алефференко. Однажды Алексеенко забыл пресловутую тетрадочку. Тараканиус вошел в класс, воссел на кафедре, надел пенсне и негромко вызвал:

– Але...ференко!

Алефференко, сидевший позади Алексеенко, пошел к кафедре, Алексеенко, которому со страху почудилось, что вызвали его, вскочил и уныло пробасил:

– Я тетрадку забыл, Вениамин Витальевич... со слова-

ми...

И замер от ужаса: к кафедре подходил Алеференко.

«Обознался!.. Ой, дурак!..» Тараканиус невозмутимо обмакнул перо в чернила.

– Ну, собственно, я не тебя, а Алеференко вызывал. Но раз уж сам сознаешься, получай по заслугам.

И поставил единицу.

Историческая гвардия

Звонок. Кончилась перемена. Стихает шум в классе.

Идет!

Все за партами разом вскочили.

Приближается историк. Белокурые мягкие волосы на пробор. Худое, совсем молодое бледное лицо. Громадные голубые глаза. Голова чуть-чуть склонилась ласково набок. Воротничок ослепителен. Кирилл Михайлович Ухов вихрем влетает в класс, бросает на кафедру журнал. Класс на ногах.

Кирилл Михайлович осматривает класс, взбегаёт на кафедру, забегаёт в проход сбоку, садится на корточки. Вдруг голубые глаза сверкнули. Высокий голос сорвался в крик:

– Кто!.. там!! смеет!!! садиться?!! Я еще не сказал... «садитесь»... Встаньте и стойте!!! И вы там!!! И вы!!! И вы! Негодяи! Остальные – сесть. Руки на парту. Обе. Где рука? Встаньте и стойте! А вы – к стенке!!! Прямо! Ну... Тишина! Кто это там скрипит? Шалферов? Встаньте и стойте! Мол-

чать!

Четырнадцать человек стоят весь урок. Историк рассказывает о древних царях и знаменитых лошадях. Ежеминутно поправляет галстук, волосы, манжеты. Из-под манжеты левой руки блестит золотой браслет – подарок какой-то легендарной помещицы.

Четырнадцать человек стоят. Урок идет томительно долго. Ноги затекли. Наконец учитель смотрит на часы. Щелкает золотая крышка.

Стоящие нерешительно покашливают.

– Простудились? – спрашивает заботливо историк. – Дежурный, закройте все форточки: на них дует.

Дежурный закрывает форточки. Урок идет. Наказанные стоят, переминаясь с ноги на ногу. Взглянув еще раза два на часы, историк вдруг говорит:

– Ну, гвардия, садитесь...

Ровно через минуту всегда звонит звонок.

Среди блуждающих парт

Француженку нашу звали Матрена Мартыновна Бадейкина. Но она требовала, чтобы мы ее звали Матроной: Матрона Мартыновна. Мы не спорили.

До третьего класса она звала нас «малявками», от третьего до шестого – «голубчиками», дальше – «господами».

Малявок она определенно боялась. У некоторых малявок

буйно, как бурьян на задворках, росли усы, а басок был столь лют, что его пугались на улице даже верблюды. Кроме того, от малявок, когда они отвечали урок у кафедры, так несло махоркой, что бедную Матрону едва не тошнило:

– Не подходите ближе! – вопила она. – От вас, пардон, несет.

– Пирог с пасленом ел, – учтиво объяснял малявка, – вот и несет от отрыжки.

– Ах, мон дье! При чем тут паслен? Вы же насквозь прокурены...

– Что вы, Матре... тьфу! Матрона Мартыновна! Я же некурящий. И потом... пожалуйста... пы-ыжкытэ ла класс?

От последнего Матрена таяла. Стоило только попросить по-французски разрешения выйти, как Матрена расплывалась от счастья. Вообще же она была, как мы тогда считали, страшно обидчивой. Напишешь гадость какую-нибудь на доске по-французски, дохлую крысу к кафедре приколешь или еще что-нибудь шутя сделаешь, она уже в обиду. Запишет в журнал, обидится, закроет лицо руками и сидит на кафедре. Молчит. И мы молчим. Потом по команде Биндюга парты начинают тихонько подъезжать полукругом к кафедре. Мы очень ловко умели ездить на партах, упираясь коленками в ящик парты, а ногами – в пол. Когда весь класс оказывался у кафедры, мы тихонько хором говорили:

– Же ву-зем... же-ву-зем... же-ву-зем... Матрона Мартыновна открывала глаза и видела себя окруженной со всех сто-

рон съехавшимися партами. А Биндюг вставал и трогательно, галантно басил:

– Вы уж нас пардон, Матрона Мартыновна! Не сердчайте на своих малявок... Гы!.. Зачеркните в журнальчике, а то не выпустим...

Матрона таяла, зачеркивала.

Класс отбивал торжественную дробь на партах. «Камчатка» играла отбой. Парты отступали.

Вскоре нам надоело каждый раз объясняться в любви нашей «франзели», и мы вместо «же-ву-зем» стали говорить «Новоузенск». Же-ву-зем и Новоузенск – очень похоже. Если хором говорить, отличить нельзя. И бедная Матрона продолжала воображать, что мы хором любим ее, в то время как мы повторяли название близлежащего города.

Кончилось это, однако, плачевно. Вслед за партами лихорадка туризма объяла и другие вещи. Так, однажды поехал по коридору большой шкаф, из учительской уехали калоши Цап-Царапыча. Когда же раз перед уроком, встав на дыбы, помчалась кафедра, под которой сидел Биндюг с приятелем, тогда в дело столоверчения вмешался дух директора, и герои попали в кондуит. Класс же весь сидел два часа без обеда.

Царский день

С утра в окно виден трепыхающийся, слоенный белым, синим и красным флаг.

На календаре – красные буквы:

«Тезоименитство его величества...» У церкви Петра и Павла – колокол с трещиной:

«Ан-дрон!.. Ан-дрон!.. Ан-дрон!..

Ти-ли-лик-нем помаленьку...

Тилиликнем помаленьку...»

К одиннадцати – в гимназию. Молебен.

В коридоре парами стоят классы. Жесткие, с серебряными краями воротники мундиров врезаются в шею. Тишина. Ладан. Духота. Батюшка, тот самый, который на уроках Закона Божьего бьет гимназистов корешком Евангелия по голове, приговаривая: «Стой столбом, балда», в нарядной ризе гнусавит очень торжественно. Поет хор. Суется маленький волосатый регент.

Два часа навтыжку. Классы стоят не шелохнувшись. Чешется нос. Нельзя почесать. Руки по швам. Тишина. Жара. Душно...

– Многая лета! Мно-огая ле-ета!..

– Николай Ильич... Боженков рвать хочет...

– Т-с-с... Тихо! Я ему вырву!..

– Многая ле-е-ета-а...

– Николай Ильич... он, ей-богу, не сдержит... Он уже

тошнит...

– Т-с-с!

Тишина. Духота. Нос чешется. Дисциплина. Руки по швам. Второй час на исходе.

– Бо-о-же, царя храни!

Директор выходит вперед и, словно из детского пистолета, коротко стреляет:

– Ура!

– Уррра-а-а-а-а-а!!!!

Коридор сотрясается. Директор еще раз:

– Ура!

– Уррррааааа!!!

Еще раз... Эх, раз, еще раз!..

– Ура-а!

– А-а-а-а-а...ыак...

– Николай Ильич, Боженов уже блюет на пол...

– ...Боже, царя храни...

Боженова уносят. Обморок. Молебен окончен. Можно почесать нос, на один крючок растянуть ворот.

«Наука умеет много гитик»

Уже давно Аннушка сообщила нам, что «наука умеет много гитик». Такова была секретная формула одного карточного фокуса. Карты раскладывались парами по одинаковым буквам, и загаданная пара легко находилась. Отсюда следовало, что наука действительно была всесильна и умела много... этого самого... гитик... Что такое «гитик», никто не

знал. Мы искали объяснений в энциклопедическом словаре, но там после наемной турецкой кавалерии «гитас» следовало сразу «Гито» – убийца американского президента Гарфильда. А гитика между ними не было.

Затем о значении науки я услышал в гимназии. Но могущество науки здесь не доказывалось так наглядно, как в Аннушкином фокусе. С кафедры низвергалась и запорашивала наши головы наука, сухая и непереваримая, как опилки. О гитике никто из учителей также не смог сообщить что-нибудь определенное. Второгодники посоветовали обратиться за разъяснением к латинисту.

– От кого ты слыхал это слово? – спросил в затруднении самолюбивый латинист.

И второгодники затихли, предвкушая.

– От нашей кухарки, – ответил я при шумном ликовании класса.

– Иди в угол и стой до звонка, – перебил меня вспыхнувший латинист. – В программе гимназии, слава богу, не предусмотрено изучение дуршлагов и конфорок... Болван! Заткни фонтан!

И я заткнул фонтан. Я понял, что гимназическая наука не предназначена для удовлетворения наших, как тогда говорили, духовных запросов.

В поисках истины я опять ушел бродить по вольным просторам Швамбрании. Знаменитый герой задачников, скромно именуемый «Некто», этот самый Некто, купивший 25 3/4

аршина сукна по 3 рубля за аршин и продавший по 5 рублей, терпел из-за Швамбрании большие убытки. Путешественники, выехавшие из пунктов А и Б навстречу друг другу, никак не могли встретиться, ибо плутали по Швамбрании. Но население Швамбрании в лице Оськи радостно приветствовало мое возвращение.

Место на глобусе

Вернувшись на материк Большого Зуба, я принялся за реформы. Прежде всего надо было утвердить Швамбранию в каком-нибудь определенном месте на земном шаре. Мы подыскили ей местечко в Южном полушарии, на пустынном океане. Таким образом, когда у нас была зима, в Швамбрании было лето, а ведь играть интересно только в то, чего сейчас нет.

Теперь Швамбрания крепко осела на глобусе. Материк Большого Зуба лежал в Тихом океане, на восток от Австралии, поглотив часть островов Океании. Северные границы швамбранского материка, доходя до экватора, цвели тропическим изобилием, южные границы леденели от близкого соседства Антарктики.

Потом я вытряхнул на швамбранскую почву содержание всех прочитанных книг. Оська, силясь не отставать от меня, заучивал новые для него слова и нещадно их путал. Ежедневно, как только я приходил из гимназии, Оська отзывал

меня в сторону и шептал:

– Большие новости! Джек поехал на Курагу охотиться на шоколадов... а сто диких балканов как накинутся на него и ну убивать! А тут еще из изверга Терракоты начал дым валить, огонь. Хорошо, что его верный Сара-Бернар спас – как залает...

И я должен был догадываться, что у Оськи в голове спутались курага и Никарагуа, Балканы и каннибалы, шоколад и кашалот; артистку Сару Бернар он перепутал с породой собак сенбернар... А извергом он называет вулкан за то, что тот извергается.

Происхождение негодяев

Мы росли. В моем почерке буквы уже взялись за руки. Строчки, как солдаты, равнялись направо. А повзрослев, мы убедились, что в мире мало симметрии и нет абсолютно прямых линий, совсем круглых кругов, совершенно плоских плоскостей. Природе, оказалось, свойственны противоречия, шероховатость, извилистость. Эта корявость мира произошла от вечной борьбы, царящей в природе. Сложные очертания материков также являли след этой борьбы. Море вгрызалось в землю. Суша запускала пальцы в голубую шевелюру моря.

Необходимо было пересмотреть границы нашей Швамбрании. Так появилась новая карта.

Но тут мы заметили, что борьба лежит не только в основе географии. Какая-то борьба правила всей жизнью, гудела в трюме истории и двигала ее. Без нее даже наша Швамброния оказывалась скучной и безжизненной. Игра становилась стоячей, как вода в болоте. Мы не знали еще тогда, какая борьба движет историю. В нашей уютной квартире мы не могли познакомиться с великой, всепроникающей борьбой за существование. И мы тогда решили, что все это – войны, перевороты и т. д. – просто борьба хорошего с плохим. Вот и все. И чтобы швамбранская игра развивалась, пришлось поселить в Швамбронии нескольких негодяев.

Самым главным негодяем Швамбронии был кровожадный граф Уродонал Шателена. В то время во всех журналах рекламировался «Уродонал Шателена», модное лекарство от камней в почках и печени. На объявлениях уродонала обычно рисовался человек, которого терзали ужасные боли. Боли изображались в виде клещей, стиснувших тело несчастного. Или же изображался человек с платяной щеткой. Этой щеткой он чистил огромную человеческую почку. Все это мы решили считать преступлениями кровожадного графа.

Верхний этаж мира

Крыши домов хотя и принадлежали действительному миру, но были высоко приподняты над скучной землей и не подчинялись ее законам. Крыши были оккупированы швам-

бранами. По их крутым скатам и карнизам, по острым конькам, через чердаки и брандмауэры я совершал далекие головокружительные путешествия. Перелезая с крыши на крышу, можно было, не касаясь земли, обойти весь квартал. А потом хорошо было к вечеру смотреть на небо, лежа на остывающем железе между трубой и шестом скворечника. Близкое небо плыло над головой, и крыша плыла против облачного течения. На мачте насвистывал вахтенный скворец. День, как большой корабль, подваливал к вечеру. День поднимал красные весла заката и бросал во двор тени, когтистые, как якоря.

Но хождение по крышам строго запрещалось. Дворник Филиппыч с метлой охранял надземные края. Он был бдителен и неумолим.

Хозяева чужих дворов, увидев меня громыхающим по их крышам, кричали: «Довольно бессовестно докторовым детям по крышам галашничать!», хотя я не понимал, почему, собственно, дети врачей рождены ползать лишь по земле! Но это проклятое «докторовы дети» вечно преследовало нас и обязывало к благовоспитанности.

Однажды Филиппыч выследил меня. Он гнался за мной, громыхая по железу. На соседнем дворе, куда я хотел спрыгнуть, спустили с цепи грозного барбоса. На другом дворе стоял хозяин в розовых кальсонах и жилетке. Он гарантировал со своей стороны «проборцию и ушедраание»... Но тут я заметил у соседнего брандмауэра лестницу. Я показал Фи-

липычу язык и спасся на третий двор.

Лапта в сирени

Дворик, куда я попал, был весь в деревьях. Деревья взби-ли лиловую пену сирени и маялись ее изобилием. Садик цвел тучно и щедро.

За своей спиной я услышал легкий топот. Из садика выбе-жала веселая девочка с длинной золотой косой, со скакалкой в руках. Она принялась внимательно разглядывать меня. Я стал задом отходить к калитке.

– Мальчик, отчего вы торопитесь? – спросила девочка.

– От дворника, – сказал я.

У девочки были черные прыгающие меткие глаза, похо-жие на литые мячи, которыми мы играли в лапту.

Я чувствовал, что мне не «отпасться». Но бежать было нельзя. Та же лапта учила: один на один – не нарываться.

– Вы дворников боитесь? – спросила она.

– Неохота связываться, – сказал я басом, – а так я чихал на них левой ноздрей через правое плечо.

И я засунул руки в карманы. Девочка посмотрела на меня с уважением.

– Как это – через плечо? – спросила она.

Я показал. Немного помолчали. Потом девочка спросила:

– А вы в каком классе?

– В первом, – сказал я.

– И я в первом, – обрадовалась девочка. – А у вас классный господин строгий?

– У нас вовсе наставник, а не господин.

– А у нас дама, – сказала девочка. – Злющая – ужас!

Опять немного помолчали.

– А у нас, – сказала девочка, – одна ученица умеет ушами двигать. Ей завидуют все.

– Это что! – сказал я. – А вот в нашем классе есть один – до потолка плюет... Эх, и здоровый! Одной левой всех берет. А кулаком может прямо парту сломать... Только ему не позволяют. А то он, честное слово, сломал бы.

Опять молчание. На соседнем дворе захлюпала шарманка. Я в поисках темы для разговора оглядывал двор. Дом плыл в небе. Большой змей с мочальным хвостом замотался над крышей. Он козырнул, выправился и солидно задринчал.

– А у меня пряжка никогда не пожелтеет, – сказал я неожиданно, – потому что никелированная... Можете, пожалуйста, потрогать...

И я снял пояс. Девочка с вежливым интересом пощупала пряжку. Я расхрабрился, снял фуражку и показал, что на внутренней стороне козырька химическим карандашом написаны мои имя и фамилия, чтобы не пропала. Девочка прочла.

– А меня Тая зовут, по-настоящему – Таисия Опилова, – сказала она. – А вас Леня, да?

– Леля, – ответил я. – Разрешите... очень приятно познакомиться...

– Леля? Это женское имя! – насмешливо протянула Тая.

– Если б женского рода, то с мягким знаком было бы, – убежденно заявил я. Так состоялось знакомство.

Первая швамбранка

Теперь я, вольный сын Швамбрании, каждый день спускался с крыши в сиреневую долину, и Тае Опиловой суждено было стать швамбранской Евой. Оська был против. Он кричал, что ни за какие пирожные не примет играть девочку. Действительно, до сих пор в Швамбрании девочки не водились. Я же доказывал Оське, что во всех порядочных книгах красавиц похищают и спасают, и в Швамбрании теперь тоже будут похищать и спасать. Кроме того, я приготовил для первой швамбранки замечательное имя: герцогиня Каскара Саграда, дочь герцога Каскара Барбе. Даже в журнале «Нива», с обложки которого я взял это имя, было, помнится, написано, что это звучит «легко и нежно». Оська принужден был согласиться, и я начал понемножку посвящать Каскару, то есть Таю, в дела Швамбрании. Она сначала ничего не понимала, но потом стала немного разбираться в истории и географии материка Большого Зуба. Она обещала строго хранить тайну.

Окончательно я покорила Таю, когда, нацепив бумажные

эполеты, заявил, что иду на войну с Пилигвинией и привезу ей трофей.

На другой день я вернулся из пилигвинской кампании. Я скакал по крыше с трофеями в руках. Трофеи составляли два сливочных пирожных. Ей и мне. От моего пирожного уголок отъел Оська.

Я спрыгнул со стены и остолбенел. Рядом с Таяй гулял по садику незнакомый мальчишка в форме воспитанника военного кадетского корпуса. Он был гораздо старше и выше меня. У него были настоящие погоны, настоящий штык, и вообще он зазнавался.

– А! – воскликнул он, увидя меня. – Это и есть ваш шваброман?

И я понял, что Таяя все рассказала ему...

– Послушайте, – развязно продолжал кадет, – вы, штатский юноша... Вам не стыдно называть барышню такими неприличными названиями?!?! Вы знаете, что такое Каскара Саграда?.. Это пилюли от запора, извините за выражение. Эх вы, шпак несчастный!.. Сразу видно – докторский сынок...

Это напоминание взорвало меня.

– Кадет, на палочку надет! – крикнул я и полез на крышу.

Половинкой пирожного я запустил в кадета. Полтора пирожных я съел сам.

Потом я лег на крышу и стал переживать. Надо мной навистывал вахтенный скворец. Одинокий и гордый, я плыл в Швамбранию, и день, как корабль, подплывал к вечеру. За-

кат поднял красные весла, и во двор упали тени, когтистые, как якоря.

– К черту! – сказал я.

Но это относилось не к Швамбрании.

Дух времени

Театр военных действий

В доме идет бой. Брат идет на брата. Дислокация, то есть расположение враждующих сторон, такова: Швамбрания – в папином кабинете, Пилигвиния – в столовой. Гостиная отведена под «войну». В темной прихожей помещается «плен».

Я на правах старшего, разумеется, швамбран. Я наступаю, прикрываясь креслом и зарослью фикусов и рододендронов. Братишка Ося окопался за пилигвинским порогом столовой. Он кричит:

– Бум! Пу!.. Пу!.. Леля!.. Я же тебя вижу, уже два раза убил... А ты все ползешь. Давай сделаем «чур, не игры»!

– Не «чур не игры», а перемирие! – сердито поправил я. – И потом, ты меня не убил до смерти, а только контузил на-вылет.

В прихожей, то бишь в «плёну», томится Клавдюшка с соседнего двора. Она приглашена в игру специально на роль пленной и по очереди считается то швамбранской, то пили-

гвинской сестрой милосердия.

– Меня будут скоро свободить с плену? – робко спрашивает Клавдюшка, которой начинает докучать бездельное сидение в потемках.

– Потерпишь! – отвечаю я неумолимо. – Под давлением превосходных сил противника наши доблестные войска в полном порядке отступили на заранее приготовленные позиции.

Это выражение я заимствовал из газет. Ежедневные сообщения с фронта пестрят красивыми и туманными словами, которые прикрывают разные военные неприятности, потери, поражения, бегство армий, и называется все это звучно и празднично: «Театр военных действий».

На парадных картинках в «Ниве» франтоватые войска церемонно отбывают живописную войну. На крутых генеральских плечах разметались позолоченные папильотки эполет, и на мундирах дышат созвездия наград. На календарях, папиросных коробках, открытках, на бонбоньерках храбрый казак Кузьма Крючков бесконечно варьирует свой подвиг. Выпустив чуб из-под сбитой набекрень фуражки, он расправляется с разездом, с эскадроном, с целой армией немцев... На гимназических молебнах провозглашают многая лета христолюбивому воинству. Мы, гимназисты, обвязанные трехцветными шарфами, продаем по улицам флажки союзников. В кружках, в тех самых, что остались от «белой ромашки», бренчат дарственные медяки. Мы с гордостью ко-

зыряем стройным офицерам.

Мир полон войны. «Ах, громче, музыка, играй победу! Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит...» Воззвания, манифесты... «На подлинном собственной рукой его императорского величества начертано: “Николай”»... Война, большая, красивая, торжественная, занимает наши мысли, разговоры, сны и игры. Мы играем только в войну.

...Перемирие кончилось. Мои войска бьются на подступах к прихожей. На поле брани неожиданно появляется нейтральная Аннушка и требует немедленного освобождения Клавдии из плена: ее ждет на кухне мать.

Объявляется «чур, не игры», то есть перемирие. Мы бежим на кухню. Мать Клавдии, соседская кухарка, женщина с вечно набрякшим лицом, сидит за столом. Серый конверт лежит перед ней. Она здоровается с нами и осторожно берет письмо.

– Клавдюшка, – говорит она, растерянно теребя конверт, – от Петруньки пришло. Попроси уж молодого человека устно прочесть. Как он там жив... Господи...

Я вижу на конверте священный штамп «Из действующей армии». Я почтительно принимаю письмо из руки. Пропать уважения и восторга скопилась в кончиках пальцев. Письмо оттуда! Письмо с войны!.. «Марш вперед, друзья, в поход, черные гусары!», «На подлинном собственной рукой его величества...» И я читаю вслух радостным голосом:

– «... и еще, дорогая мама Евдокия Константиновна, спе-

шу уведомить вас, что это письмо подписую не собственной рукой, как я будучи сильно раненный в бою, то мне ее в лазарете отрезали до локтя совсем на нет...» Потрясенный, я останавливаюсь... Клавдина мать истошно голосит, припадая сразу растрепавшейся головой к столу.

Желая как-то утешить ее и себя тоже, ибо я чувствую, что репутация войны сильно подмочена близкой кровью, я нерешительно говорю:

– Он, наверное, получит орден... серебряный... Будет георгиевский кавалер...

Кажется, я сморозил основательную глупость?!

Вид на войну из окна

В классе идет нудный урок алгебры. Учитель математики Карлыч болен. Его временно замещает скучнейший акцизный чиновник, скрывающийся от мобилизации, Самлыков Геннадий Алексеевич, прозванный нами Гнедой Алексев.

На площади перед гимназией происходит ученье – строевые занятия солдат 214-го полка. В открытую форточку класса, путая алгебраические формулы, влетают песни и команда:

- «Ах цумба, цумба, цумба, Мадрид и Лиссабон!..»
- Равняйся! Первой, второй... рассчитайся!
- «Раскудря-кудря-кудря-ку... раскудрявая моя!»
- Ать-два! Ать-два!.. Левой!.. Шаг равняй...

– «Дружно, ребята, в поход собирайся!..»

– Как стоишь, сатана? Равняйся! Стой веселей!..

– Здра-жла! Ваш-дит-ство!..

– Вперед коли, назад коли, вперед прикладом бей! Бежи еще раз!.. Арш!..

– Ура-а-а-а-а-а-а-а-а-а!!!

Из широко разверстых ртов, из натруженных глоток лезет с хрипом, со слюной надсадное «ура». Штыки уходят в чучело. Соломенные жгуты кишками вылезают из распоротого мешочного чрева.

– Кто это там в окно загляделся? Мартыненко, ну-ка, повторите, что я сейчас сказал.

Огромный Мартыненко, по прозвищу Биндюг, отдирает глаза от окна и тяжело вскакивает.

– Ну, что я сейчас объяснил? – пристаёт Гнедой Алексев. – Не слышал... в окно любовался... Ну, чему равняется квадрат суммы двух катетов?

– Он... это... – бормочет Мартыненко и вдруг подмигивает: – Он равняется направо... Первый, второй, рассчитайся... Плюс ряды сдвоенные...

Класс хохочет.

– Я вам ставлю единицу, лодырь. Марш к стенке!

– Слушаюсь! – рапортует Мартыненко и по-военному застыивает у стенки.

Классу совсем весело. Перья поют.

– Мартыненко, убирайтесь вон из класса! – приказывает

педагог.

Мартыненко командует сам себе:

– К церемониальному... равнение на кафедру... По коридору... арш!

– Это что за шалопайство! – вскакивает преподаватель. – Я вас запишу в журнал! Будете сидеть после урока!

– Чубарики-чубчики... – доносится в форточку. – Как стоишь, черт? Три часа под ружье... Чубарики-чубчик...

Первое орудие, чхи!

Бац!!! За доской выстрелила печка... Трррах!!! Та-та... Кто-то, зная ненависть Самлыкова к выстрелам, положил в голландку патроны. Учитель, бледнея, вскакивает. По классу ползет вонючий дым. Учитель бежит за доску. По дороге он наступает на невинный комочек бумаги. Класс замирает. Хлоп!!! Комочек с треском взрывается. Педагог отчаянно подпрыгивает. Едва другая его подошва коснулась пола, как под ней происходит новый взрыв. Класс, подавившись немим хохотом, сползает со скамеек под парты. Взбешенный учитель оборачивается к классу, но за партами ни души. Класс безлюден. Мы извиваемся, мы катаемся от хохота под скамейками.

– Дрянь! – кричит в отчаянии учитель. – Всех запишу!!!

И он осторожно, на цыпочках, ступает к кафедре.

Подошвы его дымятся. Он достает с кафедры табакерку

– надежное утешение в тяжелые минуты, но в табакерку, которую он перед уроком оставил на минуту на подоконнике в коридоре, нами уже давно всыпан порох и молотый перец.

Гнедой Алексев втягивает взволнованными ноздрями понюшку этой жуткой смеси. Потом он застывает с открытым ртом и вылезавшими на лоб глазами. Ужасное, раздражающее ап-чхи сотрясает его.

Класс снова становится обитаемым. Парты ходят от хохота. Мартыненко, подняв руку, командует:

– Второе орудие, пли!

– Гага-аап-чхи!!! – рывкает несчастный Самлыков.

– Третье орудие...

– Чжщхи!.. Ох!

Дверь класса неожиданно растворяется. Мы встаем. Входит директор. Пальба в классе, хохот и орудийный чих педагога привлекли его.

– Что здесь происходит? – холодно спрашивает директор, оглядывая багрового педагога и великопостные рожи вытянувшихся гимназистов.

– Они... Ох!.. Ао!.. – надывается Гнедой Алексев. – Чжихи!.. Ох!.. Чхищхи!..

Тогда дежурный решается объяснить директору:

– Ювенал Богданыч, они все время икчут и чихают...

– Тебя не спрашивают! – говорит, начиная догадываться, директор. – Скверные мальчишки!.. Геннадий Алексеевич, будьте добры ко мне в кабинет!

Чихая в директорскую спину, Алексей плетется за Стомолицким.

Больше в класс он уже не возвращается.

Мы избавились от Гнедого Алексева.

Классный командир и ротный наставник

– Время пахнет порохом! – говорят взрослые и сокрушенно качают головами.

Запах пороха пропитывает гимназию. Классы огнеопасны. Каждая парта – пороховой склад, арсенал и цейхгауз. Кондуит ежедневно регистрирует:

У ученика IV класса Тальянова Виталия, пытавшегося бежать «на войну», отобран г. надзирателем, при задержании на пристани, револьвер системы «Смит и Вессон» с патронами и краденый чайник, принадлежавший старьевщику и им опознанный. Вызваны родители.

У ученика II класса Щербинина Николая обнаружены в парте: один погон офицерский, темляк от шашки, пакет с порохом, пустая металлическая трубка неизвестного предназначения. Изъяты из ранца: обломок штыка, револьвер «пугач», шпора, кисет солдатский, кокарда, рогатка с резинкой и ручная граната (разряженная). Оставлен после уроков дважды по три часа.

Ученик V класса Маршутин Терентий якобы неумышленно выстрелил в классе на уроке из самодельной пушки, вы-

бив стекло и осквернив воздух. Лишен права посещения занятий в течение недели.

У гимназистов гремящая походка: карманы полны отстрелянных ружейных гильз. Мы собираем их на стрельбище, за кладбищем. Просторный ветер играет на кладбище в «нолики и крестики». Из-за пригорка видны заячьи морды ветряных мельниц. На небольшом плоскогорье сучает военный городок. В его дощатых бараках размещен 214-й пехотный полк. Ветер доносит запах щей, махорки, сапог и иные несказуемые ароматы армейского тыла.

Между нами, воспитанниками Покровской мужской гимназии, и рядовыми 214-го пехотного полка, царит деловая дружба. Через колючие проволочные ограждения военного городка взамен наших бутербродов, огурцов, моченых яблок и всяких иных штатских яств мы получаем желанные предметы армейского обихода: пустые обоймы, пряжки, кокарды, рваные погоны. В особой цене офицерские погоны. За один замаранный смолой погон прапорщика каптенармус Сидор Долбанов получил от меня два бутерброда с ветчиной, кусок шоколада «Гала-Петер» и пять отцовских папирос «Триумф».

– И то продешевил, – сказал при этом Сидор Долбанов. – Так только, по знакомству, значит. Как вы, гимназеры, по моему размышлению, тоже на манер служивые, все одно, как наш брат солдат... и форма, и ученье. Верно я говорю?

Сидор Долбанов любит говорить о просвещении.

– Только, брат, военная наука, – философствует он, уписывая нашу колбасу, – военная наука вникания требует, а с ней ваше ученье и не сравнять. Да, это что там арихметика, алгебра и подобная словесность... А ты вот скажи, если ты образованный: какое звание у командира полка – ваше высокородие аль ваше высокоблагородие?

– Мы этого еще не проходили, – смущенно оправдываюсь я.

– То-то... А что, хлопцы, классный командир у вас шибко злой из себя?

– Строгий, – отвечаю я. – Чуть что – к стенке, в кондуит и без обеда.

– Ишь, истукамен! – посочувствовал Сидор Долбанов! – Выходит, дьявол, вроде нашего ротного...

– А у вас есть ротный наставник? – спрашиваю я.

– Не наставник, а командир, съешь его раки! – важно поправляет Долбанов. – Ротный командир, его благородие, сатана треклятая, поручик Самлыков Геннадий Алексеич.

– Гнедой Алексев! – изумленно выпаливаю я.

Братики-солдатики

Старшие гимназисты гуляли по Брешке с прапорщиками. Хотя это и нарушало правила, однако для доблестного офицерства делались исключения. Рядовые козыряли. Гимназистки кокетливо щипали корпию.

Мы завидовали.

Однажды во время урока в класс вошел инспектор. Борода его выглядела умильно и почтительно.

– В город прибыли первые раненые из действующей армии, – сказал инспектор. – Мы пойдем встречать их... Эй, «Камчатка», я кому говорю? Тютин! Ты у меня, дубина сторосовая, останешься на часок, шалопай!.. Так вот, говорю, выйдем всей гимназией встречать наших славных воинов, которые... это... того... пострадали за государя и веру православную... Словом, живо в пары! Только чтоб на улице держать себя как подобает. Слышите? А не то я вас... башибузуки, галашня, вертихвосты! Архаровцы! Шальная команда! Смотрите у меня!

Улицы были заполнены народом. Висели трехцветные флаги. Раненых по одному везли в разукрашенных экипажах городских богачей. Каждого солдата поддерживала дама из благотворительного кружка, одетая сестрой милосердия. Все это было похоже на свадебный кортеж. Городовые отдавали честь.

Раненых поместили в новеньком лазарете в бывшей приходской школе. Там хозяйничали запыхавшиеся дамы. Тут же в большой палате был устроен торжественный концерт. Умытые, свежесбрившие, надушенные фронтовики, обложенные подушками, бонбоньерками, коробками конфет, сконфуженно слушали громогласные речи «отцов города». Некоторые держали украшенные бантиками костыли.

Наш четвероклассник Швецов продекламировал стихотворение «Бельгийские дети». За его спиной выстроились шесть второклассников и гимнастическими движениями сопровождали чтение. Гимназистка Разуданова, дочь земского начальника, сыграла на рояле «Жаворонка» Глинки. Раненые неловко ерзали и беспокойно ворочались. Последним выступил фармацевт из частной аптеки – поэт и тенор. После этого с кровати поднялся высокий белесый солдатик и робко прокашлялся.

– Просим! Просим! – закричали все, аплодируя.

Когда все стихло, раненый сказал:

– Дозвольте сказать... Господин доктор, и уважаемые господа дамочки, и сестрицы, и подобные... Мы, значит, через все это... ваши милости... очень к вам благодарны. Только бы... нам, виноват, извините, маленько насчет чтобы, значит, это... поспать требуется, в дороге-то три дня не спамши...

Дух времени

В бараках пороли солдат. В офицерском собрании какой-то прапорщик назвал другого армянской мордой. Оскорбленный выстрелил в обидчика и убил его наповал. Раненых везли с фронта как попало и клали уже куда попало...

Потом взяли Перемышль. Лабазники, субъекты из пригорода Краснявки, кое-кто из чиновников прошли по улицам,

неся впереди, как икону, портрет царя. Они заражали воздух воплями, трехцветным трепыханьем и перегаром денатура-та. Словно торжество подогревалось на спиртовке.

Опять ходил по классам инспектор. Он парадно нес свою бороду, торжественную, раздвоенную, победоносную, как хоругвь.

Мы вышли на крыльцо гимназии, чтобы приветствовать манифестантов. По знаку директора мы кричали «ура». И было что-то гнусное в этой горланящей толпе. Казалось, что пойдут вот сейчас бить окна, убивать людей... Какая-то тупая, душная, непреодолимая сила двигалась на нас и давила сознание. Это было похоже на ощущение попавшего в самый низ «кучи мала», когда тебя, беспомощного, плющит навалившееся беспросветное удушье и нет даже возможности протолкнуть крик...

Однако все обошлось. Только ночью отца – доктора – вызвали спасти какого-то опившегося денатуратом «патриота».

Манифестация произвела сильнейшее впечатление на Оську. Оська был великий путаник, подражатель и фантаст. Для каждого предмета он находил совершенно новое предназначение. Он видел вторую душу вещей. В те дни он, как теперь говорят, обыгрывал... отломанное сиденье с унитаза. Сначала он сунул в отверстие сиденья самоварную трубу, и получился пулемет «максим» со щитком. Потом сиденье, как хомут, было надето через голову деревянной ло-

шади. Все это еще было допустимо, хотя и не совсем благопристойно. Но на другой день после манифестации Оська организовал на дворе швамбранское и совершенно кощунственное шествие. Клавдюшка несла на половой щетке чьи-то штаны со штрипками. Они изображали хоругвь. А Оська нес пресловутое сиденье. В дыре, как в раме, красовался вырезанный из «Нивы» портрет императора Николая Второго, самодержца всероссийского.

Негодующий дворник доставил манифестантов к папе. Он грозил пожаловаться в полицию. Но, опустив в карман небольшое папино даяние, быстро смирился.

– Дети, знаете, очень чутко улавливают дух времени, – глубокомысленно твердили взрослые.

Дух времени, очень тяжелый дух, пропитывал все вокруг нас...

Нас обучают войне

Зимой нас вместе с женской гимназией водили в военный городок, чтобы показать примерный бой.

Кругом было холодно и бело.

Полковник объяснял бой дамам из благотворительного кружка. Дамы грели руки в муфтах и восхищались, а при выстрелах затыкали уши. Бой, впрочем, был очень некрасив и совсем не такой, каким его изображали в «Ниве».

Черные фигурки ползли по полю, бежали стада дымов, об-

разуя завесу, зажигались какие-то огни. Нам объяснили: сигнальные. Звук перестрелки цепью издали напоминал трепыханье на ветру длинного флага. Из окопов воняло гадостно.

Полковник сказал:

– Атака. Фигурки побежали, деловито произнося «ура».

– Все, – сказал полковник.

– Кто же победил? – заинтересовалась публика, ничего не поняв.

Полковник подумал и сказал:

– Те победили.

Потом полковник предупредил, глядя вверх:

– А сейчас ударит бомбомет.

Бомбомет действительно ударил, и очень громко. Дамы испугались. Лошади извозчиков шарахнулись. Извозчики выругались в небо.

Бой кончился.

Участвовавшая в показательном сражении рота прошла перед гостями. Роту вел лукавый подпоручик. Поравнявшись с нами, солдаты с заученным молодечеством запели непристойную песню, лихо посвистывая и напрягая остуженные глотки.

Гимназистки переглядывались. Гимназисты заржали. Кто-то из учителей кашлянул.

Забеспокоилась толстая начальница.

– Подпоручик! – крикнул полковник. – Это что за балаган? Отставить!

Позади всех шел, спотыкаясь в огромных сапогах и пугаясь в шинели, маленький, тщедушный солдатик. Он старался попасть в ногу, быстро семенил, подскакивал и отставал. Гимназисты узнали в нем отца одного из наших гимназистов-бедняков.

– Вот так вояка! – кричали гимназисты. – У нас в третьем классе его сын учится. Вон стоит.

Все захохотали. Солдатик подобрал шинель руками и вприпрыжку, судорожно вытянув шею, пытался настичь свою роту. Третьеклассник, его сынишка, стоял, опустив голову. Красные пятна ползли по его лицу.

Дома меня ждал с нетерпением Оська. Он жаждал услышать описание боя.

– Очень стреляли? – спросил Оська.

– Ты знаешь, – сказал я, – война – это, оказывается, ни капельки не красиво.

Серый в яблоках

Кончался 1916 год, шли каникулы. Настало 31 декабря. Ночи родители наши ушли встречать Новый год к знакомым. Мама перед уходом долго объясняла нам, что «Новый год – это совершенно не детский праздник и надо лечь спать в десять часов, как всегда...». Оська, прогудев отходной, отбыл в ночную Швамбранию.

А ко мне пришел в гости мой товарищ – одноклассник

Гришка Федоров. Мы с ним долго щелкали орехи, играли в лото, потом от нечего делать удили рыб в папином аквариуме. В конце концов все это нам наскучило. Мы потушили свет в комнате, сели у окна и, продышав на замерзшем стекле круглые глазки, стали смотреть на улицу.

Светила луна, глухие синеватые тени лежали на снегу. Воздух был полон пересыпчатого блеска, и улица наша показалась нам необыкновенно прекрасной.

– Идем погуляем, – предложил Гришка.

Но, как известно, выходить на улицу после семи часов в декабре гимназистам строго-настрого запрещалось. И наш надзиратель Цезарь Карпович, грубый и придирчивый немец, тот самый, что был прозван нами Цап-Царапычем, выходил вечерами специально на охоту, рыскал по улицам и ловил зазевавшихся гимназистов.

Я сразу представил себе, как он вынырнет из-за угла, сверкая золотыми пуговицами с накладными двуглавыми орлами, и закричит: «Тихо! Фамилия? Стоять столбом!.. Балда!» Такая встреча ничего доброго не предвещала. Четверка в поведении, часа четыре без обеда в пустом классе. А быть может, еще какой-нибудь новогодний подарок. Цап-Царапыч был щедр по этой части.

– Ничего, – сказал Гришка Федоров, – он где-нибудь сейчас сам Новый год встречает. Сидит, небось, уписывает.

Долго уговаривать меня не пришлось. Мы надели шинели и выскочили на улицу.

Недалеко от нашего дома, на Брехаловке, помещались номера для приезжающих и ресторан «Везувий». В этот вечер «Везувий» казался огнедышащим. Окна его извергали потоки света, земля под ним дрожала от пляса, как при землетрясении.

У коновязи перед номерами стояли нарядные высокие санки с бархатным сиденьем и лисьей полостью, на железном фигурном ходу с подрезами. В лакированные гнутые оглобли с металлическими наконечниками был впряжен высокий жеребец серебристо-серой масти в яблоках. Это был знаменитый иноходец Гамбит, лучший рысак в городе. Мы сразу узнали и коня, и самый выезд. Он принадлежал богачу Карлу Цванцигу.

«Тпру» по-немецки?.

И тут мне в голову пришла отчаянная затея.

– Гришка, – сказал я, сам робея от собственной дерзости, – Гришка, давай прокатимся. Цванциг не скоро выйдет. А мы только доедем вон дотуда и кругом церкви и опять сюда. А я умею править вожжами.

Гришку не надо было долго уговаривать. И через минуту мы уже отвязали Гамбита, влезли на высокое бархатное сиденье санок и запахнули пушистую полость.

Я взял в руки плотные, тяжелые вожжи, по-извозчичьи чмокнул губами и, откашлявшись, произнес басом:

– Но! Двигай!.. Поехали!..

Гамбит оглянулся, покосился на меня своим крупным глазом и пренебрежительно отвернулся. Мне даже показалось, что он пожал плечами, если это только вообще случается у лошадей.

– Он, наверно, только по-немецки знает, – сказал Гришка и громко закричал:

– Эй, фортнаус!

Но и это не подействовало на Гамбита. Тогда я с размаху ударил его по спине скрученными вожжами. В ту же секунду меня отбросило назад, и, если бы не Гришка, поймавший меня за хлястик шинели, я бы вылетел из санок. Гамбит прыгнул вперед и пошел. Он не понес – он шел своей обычной широкой и в то же время частой иноходью. Я крепко держал вожжи, и мы мчались по пустынной улице. Эх, жаль, что никто из наших не видит нас!

– Знаешь, Гриша, – предложил я, – давай заедем за Степкой Гаврей, он тут за углом живет, мы успеем.

Я натянул правую вожжу. Гамбит послушно свернул за угол. Вот домик, в котором живет Степка.

– Стой, приехали. Тпру!

Но Гамбит не остановился. Как я ни натягивал вожжи, иноходец мчал нас дальше, и через минуту домик Степки Гаври остался далеко позади.

– Знаешь что, Гришка? – сказал я. – Лучше не надо Степки, он, знаешь, дразниться будет только... Лучше Лабанду

захватим, он вон где живет.

Я уже заранее намотал на руку вожжи и что есть силы уперся в передок саней.

Но Гамбит не остановился и у Лабанды. Меня стала забирать нешуточная тревога.

– Гришка, а как он вообще останавливается?..

Тут, кажется, Гришка понял, в чем дело.

– Тпру, стой! – что есть силы закричал он, и мы стали тянуть вожжи в четыре руки.

Но могучий иноходец не обращал внимания на наши крики и на рывки вожжей, шел все быстрее и быстрее, таща нас по пустым улицам.

– Не понимает, наверно, по-нашему! – с ужасом сказал Гришка. – А кто знает, как будет «тпру» по-немецки! Мы это не учили. Он теперь нас с тобой, Лелька, без конца возить будет.

– Не надо ехать больше! Тпру!.. Стой, довольно! – кричали мы с Гришкой.

Но Гамбит упрямо вымахивал вдоль по ночной улице.

Лошадиное слово

Я стал припоминать все известные мне обращения к лошадям, все лошадиные слова, которые только знал по книжкам.

– Тпру, тпру! Стой, ми-ла-ай!.. Не балуй, касатик!

Но, как назло, на ум лезли все какие-то выражения былинного склада: «Ах ты, волчья сыть, травяной мешок», или совсем погонятельные слова вроде: «Эй, шевелись... Поди-берегись!.. Ну, мертвая!.. Эх, распошел!..» Используя все известные мне лошадиные слова, я перешел на верблюжий язык.

– Тратрр, тратрр... чок, чок! – вопил я, как кричат обычно погонщики верблюдов.

Но Гамбит не понимал и по-верблюжьи.

– Цоб-цобе, цоб-цобе! – хрипел я, вспомнив, как кричат чумаки своим волам.

Не помогло и «цоб-цобе»...

На Троицкой церкви ударил колокол. Один раз, другой, третий... Двенадцать раз ударил колокол.

Значит, мы уже въехали в Новый год. Что же нам, веки вечные так ездить?! Когда же остановится этот неутомимый иноходец?!

Таинственно светила луна. Зловещей показалась мне тишина безлюдных улиц, на которых только что один год сменил другой... Неужели же мы на веки обречены мчаться вот так?.. Мне стало совсем не по себе.

И вдруг из-за угла блеснули в лунном свете два ряда начищенных медных пуговиц, и мы увидели Цап-Царапыча. Гамбит мчался прямо на него.

И я со страху выронил вожжи.

– Тихо! Что за крик? Как фамилия? Стоять столбом, бал-

да! – визгливо прокричал Цап-Царапыч. И произошло чудо. Гамбит стал как вкопанный.

С новым счастьем!

Мы мигом соскочили с санок, обежали с двух сторон нашего иноходца и, приблизившись к надзирателю, вежливо, шепотью ухватив лакированные козырьки фуражек, обнажили свои буйные головы и низко поклонились Цап-Царапычу.

– Добрый вечер, Цап... Цезарь Карпыч! – хором произнесли мы. – С Новым годом вас, Цезарь Карпыч, с новым счастьем!

Цап-Царапыч не спеша вынул пенсне из футляра, который он достал из кармана, и утвердил стекла на носу.

– А-а-а! – обрадовался он. – Два друга. Узнаю! Прекрасно! Прелестно! Отлично! Превосходно! Вот мы и запишем обоих. – Цап-Царапыч вынул из внутреннего кармана своей шубы знаменитую записную книжечку. – Обоих запишем, и того и другого. И оба они у нас посидят после каникул по окончании уроков в классе, без обеда, по четыре часа: один четыре часа, и другой – четыре. С Новым годом, дети, с новым счастьем!

Тут взгляд Цап-Царапыча упал на наш выезд.

– Позвольте, дети, – протянул надзиратель, – а вы попросили у господина Цванцига разрешения кататься на его санках? Что?

Мы оба впереводку стали уверять надзирателя, что Цванциг сам попросил нас покататься, чтобы Гамбит разогрелся немножко.

– Прекрасно, – проговорил Цап-Царапыч. – Вот мы сейчас туда все отправимся и там на месте это и выясним. Ну те-с...

Но нас так страшила самая возможность снова очутиться на этих проклятых санках, что мы предложили Цап-Царапычу ехать одному, обещая идти рядом пешком.

Ничего не подозревавший Цап-Царапыч взгромоздился на высокое сиденье. Он запахнулся пышной меховой полостью, взял в руки вожжи, подергал их, почмокал губами, а когда это не помогло, стегнул легонько Гамбита по спине. В ту же минуту нас разметало в разные стороны, в лицо нам полетели комья снега. Когда мы отряхнулись и протерли глаза, за углом уже исчезали полуопрокинутые санки. На них, кое-как держась и что-то вопя, от нас унесся наш несчастный надзиратель.

А из-за другого угла уже бежал в расстегнутой шубе, в галстук, сбитом набок, хозяин Гамбита, господин Карл Цванциг, крича страшным голосом:

– Карауль!.. Конокради!.. Затержать!..

И где-то уже заливался полицейский свисток. Как у них там потом все выяснилось, мы не пытались разузнать... Но и сам наш надзиратель после каникул ни слова не сказал нам о ночном происшествии. Так начался для нас Новый год – год 1917.

Февральский кондуит

О круглой земле, о больших новостях и маленьком море

Папа и мама ушли в гости. Ахнуло парадное, и от сквозняка по всему дому двери передали друг другу эстафету. Аннушка тушит в гостинной свет – слышно, как щелкнул выключатель, – и уходит на кухню. Немного жуткая пустота влезает в дом. Тикают часы в столовой. В стекла окон рвется ветер. Я сажусь за стол и делаю вид, что готовлю уроки. Бра-тишка Ося рисует пароходы. Много пароходов, и у всех из труб дым. Я беру у него красно-синий карандаш и начинаю раскрашивать в учебнике латинские местоимения. Все гласные буквы – красными, согласные – синими. Очень красиво получается.

Вдруг Ося спрашивает:

– Леля! А почему знают, что Земля круглая?

Это я знаю. Про это есть на первой странице географии, и я долго рассказываю Осе про корабль, который уходит в море далеко-далеко. Потом он скрывается за горизонтом. Его не видно. Значит, Земля круглая.

Но Ося не удовлетворен.

– А может быть, он утонул, корабль? – говорит он. – А, Ле-

ля? А?

– Не приставай, пожалуйста! Видишь, я уроки учу. Раскраска местоимений продолжается. Молчание.

– А я знаю, почему знают, что Земля круглая, – говорит опять Ося.

– Ну и знай!

– Знаю! Потому что глобус круглый... Что-о? Вот!

– Дурак ты сам круглый, вот что...

У Оськи пухнут губы. Грозит ссора. Но... в кабинете отца громко звонит телефон. Мчимся наперегонки в кабинет. Там пусто, темно и страшно. Но я поворачиваю выключатель, и комната сразу меняется, как проявленный негатив фотографии. Окна были светлыми – стали черными. Рамы были черными – стали светлыми. А главное – не страшно. Я беру трубку и говорю важным папиным голосом:

– Я вас слушаю! Что?

Оказывается, звонят из Саратова, и звонит наш любимый дядя Леша. Он очень давно не приезжал к нам. Мама говорила нам, что он уехал далеко. Но мы с Оськой подслушали раз, что он вовсе сидит в тюрьме за то, что он против царя и войны. А теперь, значит, его выпустили. Вот хорошо! И мы оба кричим в трубку:

– Дядечка! Приезжай!

– Ладно, ладно, – смеется в телефон дядя. – А ты, Леля, не забудь передать маме, папе, когда придут, что звонил я и сказал, что в России революция... Временное правитель-

ство... Царь отрекся... Повтори! – И голос у дяди какой-то необычайно веселый.

– Дядечка! – кричу я. – Как же это так вышло?

– Ты еще маленький, не поймешь.

– Нет, пойму, – обиделся я, – нет, пойму! Я уже в третьем.

И дядя из Саратова, из-за Волги, торопясь, рассказывает по телефону о войне, о революции, равенстве, братстве...

– Вы кончили? – влезает в трубку чужой голос. – Время истекло.

Крррах! Нас разъединили. А я стою, сразу словно вырос на три года. Я стою и готов взорваться от всего того, что услышал от дяди.

Но тут взгляд мой падает на Оську. Он стоит смущенный.

– Эх, ты! – возмущаюсь я. – А еще знает, отчего Земля круглая! Как не стыдно!..

– Я терпел, терпел, пока ты кончишь по телефону... и не заметил.

Я бегу на кухню.

В кухне у Аннушки гость – знакомый раненый солдат. Черный и угрюмый, а на груди серебряный георгиевский крестик. Восторженно кричу:

– Аннушка!.. Во-первых, теперь революция... свобода... и без царя!.. А во-вторых... Оське надо штаны переодеть...

И, задыхаясь, я рассказываю все, что слышал от дяди. И вдруг Аннушкин солдат встает. Левая рука у него забинтована. Правой он обнимает меня. Я оторопел. Солдат крепко

прижимает меня к себе:

– Эх, милай! Вот разуважил! Спасибочко! Неужто ж правда? – и грозит большим кулаком кому-то в четыре окна: – Ну, погоди! Дождались!..

Я смотрю в окна. Но там никого нет. А солдат извиняется.

– Вы меня простите, молодой человек... Уж больно вы меня того... Да как же... Господи ж... Вот спасибочко! Ровно праздник!

Нос у него странно морщится.

Разговор по прямому проводу

В столовой я влезаю на стул и стучу в отдушник. Это вроде телефона. Наверху живут Нюра и Вера Живильские. У них тоже отдушник. У нас постучишь – наверху слышно. В отдушнике Нюрин голос:

– Слушаю!

– Здравствуйте! (Вообще мы на «ты», но по «телефону» надо говорить «вы».) Здравствуйте, Нюра. Большие новости! Революция, и у нас солдат сидит.

– А у меня чего есть! – говорит Нюра. – Отгадайте.

– Еще где-нибудь революция?

– Нет! Крестная сервиз подарила, и даже с молочником.

Я бросаю труб... виноват – захлопываю отдушник. Разве они могут понять? И я, одевшись, бегу к товарищу-соседу, чтобы порадовать его. А латынь так и остается невыученной.

Цап-Царапыч гонится за луной, или Что сказал об этом кондуит

На улице пахнет оттепелью. Небо в звездочках, как петлица инспекторского мундира. Я мчусь по пустой улице, а сбоку бежит луна и, как собака, останавливается поочередно за каждым телеграфным столбом. Домики стоят, зажмурив ставни. Как можно сейчас дрыхнуть? Ведь революция же! Мне хочется орать...

Из-за угла навстречу нам выплывают два ряда сияющих пуговиц... Цап-Царапыч! Мы с верной луной задаем драпу – бежим назад. Луна прячется за столбы и заборы. Я бегу, укрываясь в их тень. Но Цап-Царапыч уже заметил.

– Стой! Стой, прохвост! – кричит он. – Городовой!

Но фамилии не кричит. Значит, не узнал, и я лечу дальше. Луна и Цап-Царапыч следуют за мной. Цап-Царапыч – враг. Луна – сообщница.

Вот она, чтоб не выдать меня, юркнула за крышу... Но я ошибался. Цап-Царапыч узнал меня. В кондуите на другой день возникла следующая запись на моей страничке:

4 марта был замечен надзирателем на улице после 7 часов. Несмотря на приказание остановиться, убежал...

Луна в кондуит не попала.

«Вольно!» – говорит солдат

В гостиную мы приводим Аннушкиного солдата и Аннушку. Мы ходим по ковру, нацепив на папину трость красный Аннушкин платок.

Солдату дают маленькое Оськино ружье. Солдат показывает войну. Мы все поем:

По Кавказским горам
Гимназист гулялся.
Он кричал: «Долой царя!»
Красный флаг махался.

В гостиной замечательно пахнет смазными сапогами. Мы очень сдружились с солдатом, и он дает нам по очереди заклеивать языком его собачью ножку.

А Оська сидит у него на коленях и, подпрыгивая, спрашивает:

– А вы отгадайте... Если кит и вдруг на слона налезет? Кто кого сбoret? Отгадайте.

– Не знаю, – говорит солдат. – Ну, скажи, кто?

– И я не знаю, – говорит Ося. – И папа не знает, и дядя. Никто.

О ките и слоне долго спорим. Мы с солдатом – за слона, Аннушка назло – за кита. Солдат садится за пианино. Он тычет пальцем в одну клавишу и пытается петь «Марсельезу».

Аннушка спохватывается, что уже поздно и нам пора спать.

– Вольно! – говорит солдат, и мы идем спать.

Самоопределение Оськи

На полу детской начерчены лунные «классы». Прямо хоть прыгай по ним на одной ножке! Мы лежим в своих кроватках и говорим про революцию. Я рассказываю Осе, что слышал от дяди или читал в газетах о войне, о рабочих, о царе, о погромах...

Вдруг Ося спрашивает:

– Леля, а Леля! А что такое еврей?

– Ну, народ такой... Бывают разные: русские, например, американцы, китайцы. Немцы еще, французы. А есть евреи.

– Мы разве евреи? – удивляется Оська. – Как будто или взаправду? Скажи честное слово, что мы евреи.

– Честное слово, что мы – евреи.

Оська поражен открытием. Он долго ворочается, и уже сквозь сон я слышу, как он шепотом, чтобы не разбудить меня, спрашивает:

– Леля!

– Ну?

– И мама – еврей?

– Да. Спи.

И я засыпаю, представляя, как завтра в классе я скажу ла-

тиништу: «Довольно старого режима и к стенке ставить. Вы не имеете полного права!» Спим.

Ночью возвращаются из гостей папа и мама. Я просыпаюсь. Как и все люди после гостей, театра, они устали и раздражены.

– Дивный пирог был, – говорит папа, – у нас такого никогда не могут сделать. И куда деньги уходят?!

Слышно, как мама удивляется, найдя в подсвечнике на пианино окурков собачьей ножки. Папа пошел полоскать горло.

Тренькнула стеклянная пробка графина. И вдруг отец быстрым, очень громким для такой поздноты голосом позвал маму. Мама что-то спрашивала. Папа говорил весело и громко. Они нашли мою записку с великой новостью. Я перед сном написал ее и засунул в пробку графина.

Отец с матерью на цыпочках входят в детскую.

Отец садится на постель, обнимает меня и говорит:

– А революция пишется через «е», а не через «и»: революция. Ты-ы! – И щелкает меня в нос.

В это время просыпается Ося. Он, видно, все время даже во сне думал о сделанном им открытии.

– Мама... – начинает Ося.

– Ты зачем проснулся? Спи.

– Мама, – спрашивает Ося, уже садясь на постели, – мама, а наша кошка – тоже еврей?

«Боже, царя...» передай дальше

Утром Аннушка будит меня и Оську на этот раз так – она поет:

– Вставай, подымайся, рабочий народ... В гимнастию пора!

Рабочий народ (я и Оська) вскакивает. За завтраком я вспоминаю о невыученных латинских местоимениях: хик, хек, хок...

Выходим вместе с Оськой. Тепло. Оттепель. Извозчицьи лошади машут торбами. Оська, как всегда, воображает, что это лошади кивают ему. Ося – очень вежливый мальчик. Он останавливается около каждой лошади и, кивая головой, говорит:

– Лошадка, здравствуйте!

Лошади молчат. Извозчики, которые уже знают Оську, здороваются за них. Одна лошадь пьет из подставленного ведра. Оська спрашивает извозчика:

– Ваша лошадка тоже какао пьет? Да? Бегу, мчусь в гимназию. Они ведь еще не знают. Я ведь первый. Раздевшись, влетаю в класс и, размахивая на ремнях ранцем, ору:

– Ребята! Царя свергнули!!!

– !!!!!!!

Цап-Царапыч, которого я не заметил, закашлявшись и краснея, кричит:

– Ты что? С ума сошел? Я с тобой поговорю. Ну, живо! На молитву! В пары.

Но меня окружают, меня толкают, расспрашивают.

Коридор гулко и ритмично шаркает. Классы становятся на молитву.

Директор, сухой, выутюженный и торжественный, как всегда, промерял коридор выутюженными ногами. Зазвякали латунные бляхи. Стихли.

Батюшка, черный, как клякса в чистописании, надел епитрахиль. Молитва началась.

Мы стоим и шепчемся. Непокойно в маренговых рядах, шепот:

– А в Питере-то революция.

– Это наверху, где Балтийское на карте нарисовано?

– Ну да, здоровый кружок: на немой карте – и то сразу найдешь.

– А там, историк рассказывал, Петр Великий на лошади и домищи больше церкви.

– А как это, интересно, революция?

– Это как в пятом году. Тогда с японцами война была.

Народ и студенты по улицам ходили с красными флагами, а казаки и крючки их нагайками. И стреляли.

– Вот собаки, негодяи!

– Эх! Сегодня письменная... Опять пару влепит. Плевать!

– ...Иже еси на небеси!

– Вот тебе и царь... Поперли. Так и надо! Зачем войну

сделал?

– Тише вы!.. А уроков меньше задавать будут?

– ...Во веки веков. Аминь.

– Наследник-то в каком классе учится? Небось, кругом на пятках... Ему чего! Учителя не придираются.

– Ну, теперь ему не того будет. Наловит двоек да колов. Узнает!

– Стоп! Как же генитив плюраль будет?.. Ну ладно. Сдуем.

По рядам пошла записка. Записку эту написал Степка Атлантида. (Потом эта записка вместе с Атлантидой попала в кондуит.) На записке было:

«Не пой “Боже, царя...”. Передай дальше».

– ...От Луки святого Евангелия чтение... Робкий веснушчатый третьеклассник прочел, спотыкаясь, притчу. Инспектор подсказывал, глядя в книгу через его плечо. Последняя молитва:

– ...Родителям на утешение, церкви и отечеству на пользу.

Сейчас, сейчас! Мы насторожились. «Господствующие классы» прокашлялись. Мм-да!

Маленький длинноволосый регент из Троицкой высморкался торжественно и трубно. На дряблой шее регента извилась похожая на дождевого червя сизо-багровая жила. Нам всегда казалось, что вот-вот она лопнет. Регент левой рукой засовывает цветной платок сзади, в разрез фалд лоснящегося сюртука. Вздвигается правая рука с камертоном. Тонкий

металлический «зум» расплывается в духоте коридора. Регент поправляет засаленный крахмальный воротничок, выживает из него тонкую, будто ощипанную шею, сдвигает в козлы бровки и томно, вполголоса дает тон:

– Ля-аа... Ля...а-а...

Мы ждем. Регент вскидывается на цыпочки. Руки его взмахивают подымающе. Дребезжащим, словно палец об оконное стекло, голосом он запеваёт:

– Боже, царя храни...

Гимназисты молчат. Два-три неуверенных дисканта попробовали подхватить. Сзади Биндюг спокойно сказал, как бы записывая на память:

– Та-а-ак... Дисканты завяли.

А регент неистово машет руками перед молчащим хором. Наканифоленный его голос скрипит кобзой:

– ...Сильный... державный, царствуй... И тут мы не в силах сдерживаться больше. Нарастающий смех становится непередыхаемым. Учителя давятся от смеха.

Через секунду весь коридор во власти хохота. Коридор грохочет.

Усмехается инспектор. Трясет животом Цап-Царапыч. Заливаются первоклассники. Ревут великовозрастные. Хихикает сторож Петр.

Ха-ха... Гы-ги... Ох-хо... Хи-хи... Хе-хе-хе... Ах-ха-ха-ха...

Только директор строг и прям, как всегда. Но еще блед-

нее.

– Тихо! – говорит директор и топает ногой. Под его начищенными штиблетами все будто расплющилось в тишину.

Тогда Митька Ламберг, коновод старшекласников, восьмиклассник Митька Ламберг тоже кричит:

– Тихо! У меня слабый голос. И запекает «Марсельезу».

«На баррикадах»

Я стоял на парте и ораторствовал. Из-за печки, с «Сахалина», поднялись двое; лабазник Балдин и сын пристава Лизарский. Они всегда держались парой и напоминали пароход с баржей. Впереди широкий, загибающийся на ходу руками, низенький Лизарский, за ним, как на буксире, длинный черный Балдин. Лизарский подошел к парте и взял меня за шиворот.

– Ты что тут звонишь? – сказал он и замахнулся. Степка Гавря, по прозвищу Атлантида, подошел к Лизарскому и отпихнул его плечом:

– А ты что лезешь? Монархыст...

– Твое какое дело? Балда, дай ему! Балдин безучастно грыз семечки. Кто-то сзади в восторге запел:

Пароход баржу везет, батюшки!

Баржа семечки грызет, матушки!

Балдин ткнул плечом в грудь Степку. Произошел обычный негромкий разговор:

- А ну, не зарывайсь!
- Я не зарываюсь.
- Ты легче на повороте.
- А ну!..

Наверно, от искр, полетевших из глаз Балдина, вспыхнула драка. В классе нашлись еще «монархисты», и через секунду дрались все. Лишь крик дежурного – «Франзель идет!» – заставил противников разойтись по партам. Было объявлено перемирие до большой перемены.

Большая перемена

Дивный был день. Оттепель. На обсыхающих тротуарах мальчишки уже играли в бабки. И на солнце, как раз против гимназии, чесалась о забор громадная пестрая свинья. Черные пятна расплылись по ней, как чернильные кляксы по белой промокашке. Мы высыпали во двор. Солнца – пропасть. А городских – ни одного.

– Кто против царя – сюда! – закричал Степка Гавря. – Эй, монархисты! Сколько вас сушеных на фунт идет?

– А кто за царя – дуй к нам! Бей голоштанников!

Это завизжал Лизарский. И сейчас же замелькали снежки.

Началось настоящее сражение. Вскоре мне вlepили в глаз таким крепким снежком, что у меня закружилась голова и в глазах заполыхали зеленые и фиолетовые молнии... Но мы уже побеждали. «Монархистов» прижали к воротам.

– Сдавайтесь! – кричали мы им.

Однако они ухитрились вырваться на улицу. Увлечшись, мы вылетели за ними и попали в засаду.

Дело в том, что неподалеку от гимназии помещалось ВНУ – Высшее начальное училище. С «внучками» мы издавна воевали. Они дразнили нас «сизьяками» и били при каждом удобном случае. (Надо сказать, что в долгу мы не оставались.) И вот наши «монархисты», изменники, передались на сторону «внучков», которые не знали, из-за чего идет драка, и вместе с ними накинулись на нас.

– Бей сизяков! Гони голубей! – засвистела эта орава, и нас «взяли в работу».

– Стой! – вдруг закричал Степка Атлантида. – Стой!

Все остановились. Степка влез на сугроб, провалился, снова выкарабкался и снял фуражку.

– Ребята, – сказал он, – хватит драться. Повозились – и ладно. Ведь теперь будет... как это, Лелька... тождество?.. Нет... равенство! Всем гуртом, ребята. И войны не будет. Лафа! Мы теперь вместе...

Он помолчал немного, не зная, что сказать. Потом спрыгнул с сугроба и решительно подошел к одному из «внучков».

– Давай пять с плюсом! – сказал он и крепко пожал школьнику руку.

– Ура! – закричал я неожиданно для себя и сам испугался.

Но все закричали «ура» и захохотали. Мы смешались со школьниками.

В это время сердито зазвонил звонок.

Латинское окончание революции

– Тараканиус плывет! – закричал дежурный и кинулся за парту.

Открылась дверь. Гулко встал класс. Из пустоты коридора, внося с собой его тишину, вошел учитель латыни. Сухой и желчный, он зашел на кафедру и закрутил торчком свои тонкие тараканьи усы.

Золотое пенсне, пришпорив переносицу, прогалопировало по классу. Взгляд его остановился на моей распухшей скуле.

– Это что за украшение?

Тонкий палец уперся в меня. Я встал. Безнадёжно-унылым голосом ответил:

– Ушибся, Вениамин Витальевич. Упал.

– Упал? Тэк-тэк – с... Бедняжка. Ну-ка, господин революционер, маршируй сюда. Тэк-с! Красота! Полюбуйтесь, господа!.. Ну, что сегодня у нас задано?

Я стоял, вытянувшись, перед кафедрой. Я молчал. Тараканиус забарабанил пальцами по пюпитру. Я молчал тоскливо и отчаянно.

– Тэк-с, – сказал Тараканиус. – Не знаешь. Некогда было. Революцию делал. Садись. Единица. Дай дневник.

Класс возмущенно зашептался. Ручка, клюнув чернила,

взвилась, как ястреб, над кафедрой, высмотрела сверху в журнале мою фамилию и...

В клетку, как синицу, За четверть в этот год Большую единицу Поставил педагог.

На «Сахалине», за печкой, они, «монархисты», злорадно хихикнули.

Это было уже невыносимо; я громко засопел. Класс демонстративно задвигал ногами. Костяшки пальцев стукнули по крышке кафедры.

– Тихо! Эт-то что такое? Опять в конduit захотелось? Распустились!

Стало тихо. И тогда я упрямо и сквозь слезы сказал:

– А все-таки царя свергнули...

«Романов Николай, вон из класса!»

Последним уроком в этот день было природоведение. Преподавал его наш самый любимый учитель – веселый длинноусый Никита Павлович Камышов. На его уроках было интересно и весело. Никита Павлович бодро вошел в класс, махнул нам рукой, чтобы мы сели, и, улыбнувшись, сказал:

– Вот, голуби мои, дело-то какое. А? Революция! Здорово!

Мы обрадовались и зашумели:

– Расскажите нам про это... про царя!

– Цыц, голуби! – поднял палец Никита Павлович. – Цыц!

Хотя и революция, а тишина должна быть прежде всего. Да-

с. А затем, хотя мы с вами и изучаем сейчас однокопытных, однако о царе говорить преждевременно.

Степка Атлантида поднял руку. Все замерли, ожидая шалости.

– Чего тебе, Гавря? – спросил учитель.

– В классе курят, Никита Павлович.

– С каких пор ты это ябедой стал? – удивился Никита Павлович. – Кто смеет курить в классе?

– Царь, – спокойно и нагло заявил Степка.

– Кто, кто?

– Царь курит. Николай Второй.

И действительно. В классе висел портрет царя.

Кто-то, очевидно Степка, сделал во рту царя дырку и вставил туда зажженную папироску.

Царь курил. Мы все расхохотались. Никита Павлович тоже. Вдруг он стал серьезен необычайно и поднял руку. Мы стихли.

– Романов Николай, – воскликнул торжественно учитель, – вон из класса! Царя выставили за дверь.

Степка-агитатор

Двор женской гимназии был отделен от нашего двора высоким забором. В заборе были щели. Сквозь них на переменах передавались записочки гимназисткам. Учителя строго следили за тем, чтобы никто не подходил близко к забору.

Но это мало помогало. Общение между дворами поддерживалось из года в год. Однажды расшалившиеся старшеклассники поймали меня на перемене, раскачали и перекинули через забор на женский двор. Девочки окружили меня, готового расплакаться от смущения, и затормошили. Через три минуты начальница гимназии торжественно вводила меня за руку в нашу учительскую. Вид у меня был несколько живописный, как у Кости Гончара, городского дурачка, который любил нацеплять на себя всякую всячину. Из кармана у меня торчали цветы. Губы были в шоколаде. За хлястик засунута яркая бумажка от шоколада «Гала-Петер». В герб вставлено голубиное перышко. На груди болтался бумажный чертик. Одна штанина была кокетливо обвязана внизу розовой лентой с бантиком. Вся гимназия, даже учителя и те чуть не лопнули от смеха.

С тех пор я боялся близко подходить к забору. Поэтому, когда ребята выбрали меня делегатом на женский двор, я вспомнил «Гала-Петер», начальницу, розовый бантик и отказался.

– Зря! – сказал Степка Атлантида. – Зря! Ты вроде у нас самый подходящий для девчонок; вежливый! Ну ладно. Я схожу. Мне что? Надо ж и им все раскумекать.

И Степка полез через забор.

Мы прильнули к щелям.

Гимназистки бегали по двору, играли в латки, визжали и звонко хохотали. Степка спрыгнул с забора. «Ай!» – вскрик-

нули девочки, на минуту остановились, а потом, как цыплята на зов клушки, сбежались к забору и окружили Степку. Степка отдал честь и представился.

– Атлантида Степан, – сказал он, на минуту отрывая руку от козырька, чтобы утереть нос, – можно и Гавря. А лучше зовите Степкой.

– Через забор лазает, – степенно поджала губы маленькая гимназисточка, по прозвищу Лисичка. – Фулиган!

– Не фулиган, а выборный, – обиделся Степка. – Что? Еще за царя небось? Эх вы, темнота!

И Степан, набрав воздуха, разразился речью, старательно подбирая вежливые слова:

– Девчонки... то есть девочки! Вчера сделалась революция, и царя поперли, то есть спихнули. Мы даже «Боже, царя храни...» на молитве не пели и все за революцию, то есть за свободу. Мы хотим директора тоже свергнуть... Вы как, за свободу или нет?

– А как это – свобода? – спросила Лисичка.

– Это – без царя, без директора, к стенке не ставить и выборных своих выбирать, чтобы были главные, которых слушаться. В общем, лафа, то есть я хотел сказать – здорово! И на Брешке можно будет шляться, то есть гулять.

– Я, кажется, за свободу... – задумчиво протянула Лисичка. – А вы как, девочки?

Гимназистки теперь все были «за свободу».

Заговор

Поздно вечером к нам пришел с черного хода Степка Атлантида и таинственно вызвал меня на кухню. Аннушка вытирала мокрые взвизгивающие стаканы. Степка конспиративно покосился на нее и сообщил:

– Знаешь, учителя хотят попереть Рыбий Глаз, ей-богу, я сам слышал. Историк с Тараканиусом сейчас говорили, а я сзади шел. Мы, говорят, на него в комитет напишем. Честное слово. А ты, слушай, завтра, как выйдем на эту... как ее... манихвестацию, как я махну рукой, и все заорем: «Долой директора!» Ну, смотри только! Ладно? А я побег: мне еще к Лабзе да к Шурке надо. Замаялся. Ну, резервуар!

Совсем уже в дверях он грозно повернулся:

– А если Лизарский опять гундеть будет, так я его на все четыре действия с дробями разделаю. Я не я буду, если не разделаю...

На Брешке

На другой день занятий не было. Обе гимназии, мужская и женская, вышли на городскую демонстрацию. Директор позвонил, что прийти не может: болен, простудился... Кхе-кхе!

На демонстрации все было совершенно необычайно, ново и интересно. Преподаватели здоровались со старшеклассниками за руку, шутили, дружески беседовали. Гремел оркестр

клуба приказчиков. Ломающимися рядами, тщетно стараясь попасть в ногу, шел «цвет» города: солидные акцизные чиновники, податной инспектор, железнодорожники, тонконогие телеграфисты, служащие банка и почты.

Фуражки, кокарды, канты, петлички, пуговицы...

В руках у всех были появившиеся откуда-то печатные листочки с «Марсельезой». Чиновники, надев очки, деловито, словно в циркуляр, вглядывались в бумажки и сосредоточенно выводили безрадостными голосами:

...Раздайся, клич мести наро-о-дной...

Вперед, вперед... Вперед, вперед, вперед!

На крыльцо волостного правления, на крыше которого сидела верхом каланча, вышел уже смещенный городской голова. На нем были белые с красными разводами валенки-чешанки и резиновые калоши. Голова, сняв малахай, сказал хрипло и торжественно:

– Хоспода! У Петрограде и усей России рывалюция. Его императорское величество... кровавый деспот... отреклось от престола. Уся власть – Временному управительству. Хай здравствует! Я кажу ура!

– Ура! – закричала толпа. А Атлантида сейчас же добавил:

– И долой директора!

Но ничего не вышло. Директор не пришел, и план Степки рухнул.

На углу Брешки группа учителей во главе с инспектором оживленно спорила о чем-то. Степка вслушался. Звучал уве-

ренный голос инспектора:

– Комитет думы рассмотрит наше ходатайство сегодня вечером. Полагаю, в благоприятном для нас смысле. И тогда мы покажем господину Стомолицкому на дверь. Пора бездушной казенщины кончилась. Да-с.

Степка помчался к своим. Сразу стало веселей, и инспектор показался таким хорошим и ласковым, будто никогда и не записывал Степку в кондуит.

А народ все шел и шел. Шли празднично одетые рабочие лесопилок, типографии, костемольного, слесари депо, пухлые пекари, широкоспинные грузчики, лодочники, бородастые хлебобобы. Гукало в амбарах эхо барабана. Широкое «ура» раскатывалось по улицам, как розвальни на повороте. Приветливо улыбались гимназистки. Теплый ветер перебирал телеграфные провода аккордами «Марсельезы». И так хорошо, весело и легко дышалось в распахнутой против всех правил шинели!..

Галоши директора

Давно пробило в вестибюле девять, а уроки не начинались. Классы гудели, бурлили. Отдельные голоса булькали в общем гуле и лопались пузырьками. В коридоре ходил Цап-Царапыч и загонял гимназистов в классы. В учительской со стены слепо глядело бельмо невыгоревшего пятна на месте снятого портрета. В накуренном молчании нервно расхажи-

вали педагоги.

Наконец вездесущий Атлантида решил узнать, в чем дело, и отправился в учительскую, будто бы за картой. Не прошло и трех минут, как он, ошарашенный, ворвался в класс, два раза перекувырнулся, вскочил на кафедру, стал на голову и, болтая в воздухе ногами, оглушил нас непередаваемым радостным ревом:

– Робя!!! Комитет попер директора-а-а!!!

Бешеный треск парт. Дикие крики. Невообразимый гвалт. Восторг! Биндюг, шалый от радости, ожесточенно бил соседа «Геометрией» по голове, приговаривая:

– Поперли! Поперли! Поперли! Слышишь? По-перли!

Тогда в конце коридора, по которому тек, выливаясь из классов, веселый шум, раскрылись тяжелые двери, и начищенные ботинки на негнущихся ногах мягко проскрипели в учительскую. Преподаватели встали навстречу директору без обычных приветствий.

Стомолицкий насторожился.

– Э-э, в чем дело, господа?

– А дело, видите ли, в том, Ювенал Богданых, – мягко заколыхал бородой инспектор, – что вы... Да вот извольте прочесть.

Он аккуратно, как на подпись, подал бумагу. В лицо директору бросилось резкое слово: «Отстранить».

Но директор не хотел сдаваться.

– Э... э... я назначен сюда округом, – сказал он холодно, –

и подчиняюсь только ему. Да-с... И я безусловно сообщу в округ об этом безобразии. А сейчас, – он щелкнул крышкой золотых часов, – предлагаю приступить немедленно к занятиям.

– То есть как это так? – вспылил, остервенело теребя галстук, историк Кирилл Михайлович Ухов. – Вы... вы отстранены! Мы на этом настояли, и никаких разговоров тут быть не может... Господа! Что же вы молчите? Ведь это черт знает что!

В дверь перла с молчаливым любопытством толпа гимназистов. Задние жали, наваливались. Передние поневоле втискивались в двери, влезали в учительскую, смущенно оправляя куртки, гладили пояса. Степка Гавря, работая локтями, продрался вперед, впился азартным взглядом в историка и не выдержал:

– Правильно, Кирилл Михайлович! – И, подавшись весь вперед, рванулся к Стомолицкому: – Долой директора!!!

Мертвая тишина. И вдруг словно лавина громом рухнула на учительскую, задавила все и потопила.

– Долой! Вон! До-ло-о-ой!!! Ура!

Охнул коридор. Дрябнули окна. Тронуло зудом стекла. Гимназия ходила вся, дрожала от неистового гула, грохота, рева и сокрушительного топота.

Директор впервые в жизни погнулся, покорежился. Даже на выутюженных брюках появились складки. Инспектор хитро забеспокоился и вежливиенько прищурил глаза на дверь:

– Вам лучше удалиться, Ювенал Богданыч. Мы не ручаемся.

– Мы еще посмотрим, господа! – скрипнул зубами директор и выбежал, зацепившись бортом сюртука за скобу.

Он кинулся в кабинет, напялил фуражку с кокардой, влез в шубу на ходу, не попадая в рукава, – и на улицу. За ним на крыльцо засеменял сторож Мокеич:

– Галоши-то, Ювенал Богданыч! Галошки позабыли!

Директор, не оборачиваясь и увязая в снегу блестящими штиблетами, прыгал на тонких ногах через мутные лужи. Мокеич стоял на крыльце с галошами в руках и глубокомысленно щелкал языком:

– Нтц-нтц-нтц! А-а! Господи! Вот она, революция-то! Директор из гимназии без галош дует!

И вдруг рассмеялся:

– Ишь, наворачивает! Чисто жирафа. Ну-ну! Смеху, прости господи. Бежи, бежи! Хе-хе! Стравус.

На крыльцо с шумом и хохотом вылетели гимназисты.

– Эх, как зашпаривает! Ату его! Гони! Ура! Карьерист! Рыбий Глаз!

Мокрый снежок хлопнулся в спину Стомолицкого.

– Фью-ю! Наяривай! Муштровщик! Граф Кассо! Рыба!

Захватывало дух. Директор, сам директор, перед которым вчера еще вытягивались в струнку, дрожали, снимали за козырек (обязательно за козырек!) фуражку, мимо кабинета которого проходили на цыпочках, сам директор постыдно,

беспомощно и без галош бежал.

В окна смотрели довольные лица педагогов. Мокеич увещевал:

– Пошто безобразничаете! Нехорошо. А еще ученые!

Атлантида подкрался к нему сзади, выхватил из рук директорскую галошу и под общий хохот пустил ее в Стомолицкого. Потом, засунув два пальца в рот, засвистел дико, пронзительно, оглушающе, с переливами. Так умеют свистеть только голубятники. А Степка славился своими турманами на весь Покровск.

Когда мы, шумные, разгоряченные, вернулись в классы, учителя вяло журили:

– Нехорошо, господа. Хулиганство все-таки. Разве можно?

Но чувствовалось, что говорится это так, по обязанности.

Вече на бревнах

Во дворе на высохших бревнах после уроков мы устроили экстренное собрание. Собрались на гимназическое вече ученики всех восьми классов. Надо было выбрать делегатов на совместное заседание педагогического совета с родительским комитетом. На этом заседании решался вопрос «об отстранении от должности» директора гимназии.

Председательствовал на дворе коновод старших – восьмиклассник Митька Ламберг, выгнанный из Саратовской гим-

назии. Митька важно сидел на бревнах и объявлял:

– Ну, господа, теперь выставляйте кандидатов.

– Со двора, что ли, их выставить? Можем!

– Ха-ха-ха! В два счета.

– Господа! Выдвигайте кандидатов!

– Мартыненко! Выдвинь ему! Ха-хе!

– Господа! – возмутился Ламберг. – Тише! Гимназисты все-таки, а ведете себя, как «высшие начальные». И в такой момент... Ти-и-ише!

– Брось, ребята! Маленькие?

Гимназисты утихомирились. Начались выборы. Выбрали Митьку Ламберга, Степку Атлантиду и четвероклассника Шурку Гвоздило.

– Еще есть вопросы?

– Есть! – И Атлантида вскарабкался на бревна. – Хлопцы! Вот чего. Дело серьезное. Это вам не в козны играть, не макуху кусать. Да!.. Нам дело надо загигать круче. Рыбьему Глазу надо объявить все начистоту, до конца... И вот чего. Выборные были чтоб от нас и от них. И без никаких!..

– Правильно, Степка! Требовай выборных!.. Качать выборных!.. Качать!!!

Из Степкиных карманов посыпались пробки для пугача, патроны, куски макухи, гвозди, литой панок, дохлая мышь и книжка «Нат Пинкертон». Ламберг бил в старую кастрюлю, которая заменяла ему председательский звонок, а теперь служила барабаном. Выборных понесли к воротам.

– Уррра-а-а!

Уставшее за день от крутого подъема на небо солнце при- село отдохнуть на крышу гимназии. Крыша была мокрая от стаявшего снега, блестящая и скользкая.

Солнце поскользнулось, ожгло окна напротив, плюхну- лось в большую лужу и оттуда радужно подмигнуло веселым гимназистам.

«Родителям на утешение»

Оскорбленный директор решил на последнее средство: пошел искать защиты у родительского комитета.

Нелегко было ему идти искать защиты у родителей. Ро- дителей он считал государственными врагами и запрещал учителям заводить близкое знакомство с ними. Для него ро- дители учеников существовали лишь как адресаты записок с напоминанием о взносе платы за учење или с извещени- ем о дурном поступке сына. Всякое их вмешательство в де- ла гимназии казалось директору поруганием гимназической святыни. Наверно, если бы это было в его власти, он выкинул бы из ежедневной гимназической молитвы строчку: «Роди- телям на утешение».

Но сейчас считаться не приходилось. Директор поплелся к председателю родительского комитета. Председателем ко- митета был ветеринарный врач Шалферов. В городе его зва- ли скотским доктором.

Директор попал к Шалферову во время приема. Скотский доктор, увидев директора, так удивился, что забыл пригласить его сесть. Он поспешно вытер руку о зеленоватый, в неаппетитных пятнах халат и протянул ее директору. Директор был франтом и чистюлей, а от докторовой руки пахло парным молоком, конюшной и еще чем-то тошнотно-едким. Директора мутило, но с полной готовностью крепко пожал он протянутую руку.

Так они и разговаривали, стоя в холодной прихожей, заставленной бидонами, бутылками, завядшими фикусами и горшками из-под герани. В углу, в ящике с песком, копала яму кошка. Не сознавая того, что она является свидетельницей исторических событий и великого падения директора, кошка отставила хвост и вытянула его палкой.

Скотский доктор выслушал бледного директора и обещал поддержку. Директор униженно благодарил. Доктору было очень некогда. На дворе, заходясь в сиплом реве, мычала корова. Корове надо было поставить клизму. Шалферов посоветовал директору сходить еще к секретарю комитета.

Директор и Оська

Секретарем комитета был мой отец. Директору очень неловко было обращаться к нему с просьбой. Совсем еще недавно отец подал прошение на свободную вакансию гимназического врача. Директор тогда написал на прошении:

«Желателен врач неиудейского вероисповедания».

Отец только что вернулся домой из больницы с операции. Он умывался, полоскал горло. Вода булькала и клокотала у него в горле. Казалось, что папа закипел.

Директор ждал в гостиной. В аквариуме плавали золотые рыбки, волоча по дну прозрачную кисею длинных хвостов. Одна рыбка, с мордой, похожей на шлем летчика (так велики были ее глаза), подплыла к стеклу. Наглые рыбы глаза в упор рассматривали директора. Директор, вспомнив о своем обидном гимназическом прозвище, с досадой отвернулся.

В это время дверь гостиной приоткрылась, и в комнату вошел Ося. Он вел под уздцы большую и грустную деревянную лошадь, давно утратившую молодость и хвост. Лошадь застряла в дверях и едва не сломалась окончательно. Тут Оська увидел директора. Он остановился в раздумье, подошел поближе и спросил:

– Вы на прием? Да?

– Нет! – серьезно и хмуро ответил директор. – Я по делу.

– А-а! – воскликнул Оська. – Я знаю, вы кто. Вы лошадиный доктор. От вас пахнет так. Да? Вы коров лечите, и кошек, и собак, и жеребенков – всех. Я знаю... А мою лошадь вы вылечите? У ней в животе паровозик. Туда уехал, а оттуда никак не выезжает...

– Это ошибка, мальчик, – обиженно прервал его Стомолицкий. – Я не ветеринар. Я директор. Директор гимназии.

– Ой!.. – с уважением охнул Ося и внимательно осмотрел

директора. – Вы и есть директор? Я даже испугался. Леля говорит, вы строгий... Вас все, даже учителя, боятся. А как вас зовут? Рыбий... нет, Рыбин... вспомнил!.. Воблый Глаз?

– Меня зовут Ювенал Богданович, – сухо сказал директор. – А тебя как зовут, мальчик?

– Меня Ося. А почему вас тогда называют Воблый Глаз?

– Не задавай глупых вопросов, Ося. Ответь лучше... м... гм... ты уже умеешь читать? Да... ну, скажи... м... гм... вот... куда впадает Волга? Знаешь?

– Знаю, – уверенно ответил Ося. – Волга впадает в Саратов. А вот отгадайте сами: если слон и вдруг на кита налезет, кто кого соберет?

– Не знаю, – постыдно признался директор.

– Никто не знает, – утешился Ося, – ни папа, ни солдат, никто... А вот Воблый Глаз – это по отчеству так? Или вас, когда вы маленький были, так называли?

– Довольно!.. Будет! Скажи лучше, Ося, как звать твою лошадь?

– Конь... Как же еще? У лошадей не бывает фамилиев.

– Неверно! – строго пояснил директор. – Например, лошадь Александра Македонского звали Буцефал.

– А вас – Рыбий Глаз? Да? Совсем и не Воблый... Это я спутал. Да ведь?

Вошел папа.

– Какой развитой и смысленый мальчик ваш сын! – с ангельской улыбкой сказал, изогнувшись, директор.

Отцы, папаши, батьки

У-у-дрррдж-ууджж-ррджржж...

Громадной мухой бился в окне учительской вентилятор. В натопленной учительской было моряще жарко. В пустых, темных классах изредка потрескивали парты. Громко тикали часы в вестибюле.

– Заседание родительского комитета совместно с педагогическим советом разрешите считать открытым. Прошу...

За большим столом сидел родительский комитет. Тесным рядком сели преподаватели. Поодаль, в углу стола, приткнулись Митька Ламберг и Шурка Гвоздило. Маленький Шурка казался совсем оробевшим. Солидный Ламберг крепился.

Степку Атлантиду инспектор не пустил на собрание.

– От этого архаровца всего можно ожидать, – заявил инспектор. – Такое еще сморозит...

– Я буду тихо, Николай Ильич.

– Мокеич, выведи его отсюда!

– Ну-ка, выкатывайся, милоч, – толкал Мокеич расходившегося Степку. – Выборный... тоже. Горлопан!

Степка очень обиделся.

– Как хотите, – сказал он, уходя, – только после с меня не взыщите, если у вас ничего не сладится. Резервуар. Адье.

В начале заседания потух свет: произошла обычная поломка на станции. Учительская погрузилась в темноту. Лам-

берг полез за спичками, но спохватился, что у некурящего гимназиста не может быть спичек. Сторож Мокеич принес похожую на парашют лампу с круглым зеленым абажуром. Лампу повесили над столом. Она качалась. Тени шатались, и тени сидящих то вырастали, то укорачивались.

Сначала говорил инспектор. Говорил плавно, много явил, и раздвоенная его борода хитро юлила над столом. Борода была похожа на жало.

Сопящие хуторяне-отцы сонно слушали Ромашова, гривастый священник заправил перстами за ухо волосы и внимал. Акцизный строго протер очки, будто собирался разглядеть в них каждое слово инспектора. Лавочник глубокомысленно загибал пухлые пальцы в такт инспекторским словам.

Толстый мукомол из думы, Гутник, стал защищать директора:

– Як же вы, господа педагоги, можете такое самоправство чинить? Се, я кажу, трошки неладно. Негоже так. Допрежь у округа спросить треба... А Ювенал Богданович сполнял закон форменно. Мы бачили, шо при ем порядок был самостоятельный. Так нехай вин и остается. Сдается мне, шо так категорически и буде. Та и время дюже кипячливое, як огнем полыхае. Шкодить хлопцы зачнут. Так я кажу чи ни?

И родители одобрительно покачали головами. Отцы побаивались свободы для сыновей. Распустятся – попробуй тогда справься с этой бандой голубятников, свистунов, головорезов и двоечников.

Конduit директора

Взволнованный, вскочил Никита Павлович Камышов, географ и естествовед. С надеждой взглянули на побледневшее лицо любимого учителя Ламберг и Шурка. Горячо заговорил Никита Павлович, и каждая его фраза была страницей в неписаном кондуите самого Рыбьего Глаза.

– Господа! Что же это такое? Царя свергли, а мы... директора не можем?.. Вы – родители! Ваши дети, сыновья ваши, пришли сюда, в эти опостылевшие нам стены, получить образование, воспитание. А что они могли получить здесь? Что, я вас спрашиваю, могли получить здесь они, дети... когда мы, педагоги, взрослые, задохались? Нечем дышать было. Позор! Казарма! Вышитый ворот рубахи – восемь часов без обеда... Фуражку снял не за козырек – выговор. Боже мой!.. Теперь, когда во всей России стал чище воздух, мы тут у себя... форточку открыть боимся, чтоб проветрить!..

Он дернул себя за длинный свисающий ус и, задыхаясь, выбежал из учительской. Очень тихо стало в комнате.

Директор, незаметный в углу, распилит тишину своим плоским голосом. Директор был зелен от абажура и злости. Он оправдывался.

– Личные счета, – говорил он. – Закон... дисциплина... служба... округ.

Его прервал громадный и черный машинист Робилко,

длинный, как товарные составы, которые он водил. Машинист грохнул кулаком по столу:

– Да чего там разговаривать? Революция так революция! Вали без пересадок. А от господина директора мы ни черта хорошего, кроме плохого, не видели. Да и ребят поспросить надо. Пусть вот выборные ихние определение скажут. А то для чего выбирать было?

Митька Ламберг браво отчеканил наизусть выученную речь.

– А вы что можете сказать? – обратился председатель к Шурке Гвоздило.

Шурке стало несказанно приятно, что ему, как взрослому, говорят «вы». Он вскочил, руки по швам, как перед кафедрой.

Рыбьи глаза директора гадливо рассматривали его.

Шурка с опаской покосился на Стомолицкого: черт его знает, вдруг останется – придирается будет. Шурка гулко глотнул комок в горле. Душа его ушла в пятки. Но Ламберг каблуками так больно стиснул в это время под столом Шуркину ногу, что душа бомбой вылетела из пятки обратно, Шурка мотнул головой, снова проглотил воздух и вдруг воодушевился.

– Мы все за долой директора! – выпалил он. Кем-то заде-тая в суматохе лампа раскачивалась.

Тени опять сошли со своих мест. Тени укоризненно качали головами. Носы росли и опадали. Длиннее всех был уны-

лый нос директора.

Присутствие духа

Долго, до поздней ночи, тянулось заседание. Наконец, постановили:

«...Стомолицкого Ювенала Богдановича отстранить от должности директора гимназии. Временно, до утверждения округом, обязанности директора возложить на инспектора гимназии Николая Ильича Ромашова».

Бывший директор покинул собрание. Ушел он молча и ни с кем не простился. Ромашов с победным видом пушил бороду. Довольная борода нового директора теперь уже не смахивала на жало. Скорее, она напоминала большой, рыхлый ломоть калача, аппетитно выеденный посередине.

Расхрабрившийся Шурка заикнулся о выборном управлении. Пламя в лампе запрыгало от дружного хохота. Даже по плечу похлопали Шурку:

– Эх, молодость, молодость! Задору-то!

– Выборные от первоклашек-сопляков... Ха-ха-ха! Уморил, уморил!

Шурка сконфуженно шмурыгал носом и тер пряжку пояса.

Собрание перешло к какому-то другому вопросу. Родители зевали, прикрываясь ладонями. У Шурки слипались глаза.

Зеленый парашют лампы низко парил над столом. Пламя тоненько пело и кидало маленькие острые протуберанцы. Над стеклом струилось волнистое тепло. Спать хотелось до черта. А тут еще вентилятор этот укачивал: уудж-уррдж-ууу...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.